

Г О Ц Е  
С М И Л Е В С К И

ГЕНИАЛЬНЫЙ  
НОВАТОРСКИЙ  
ГЛУБОКИЙ

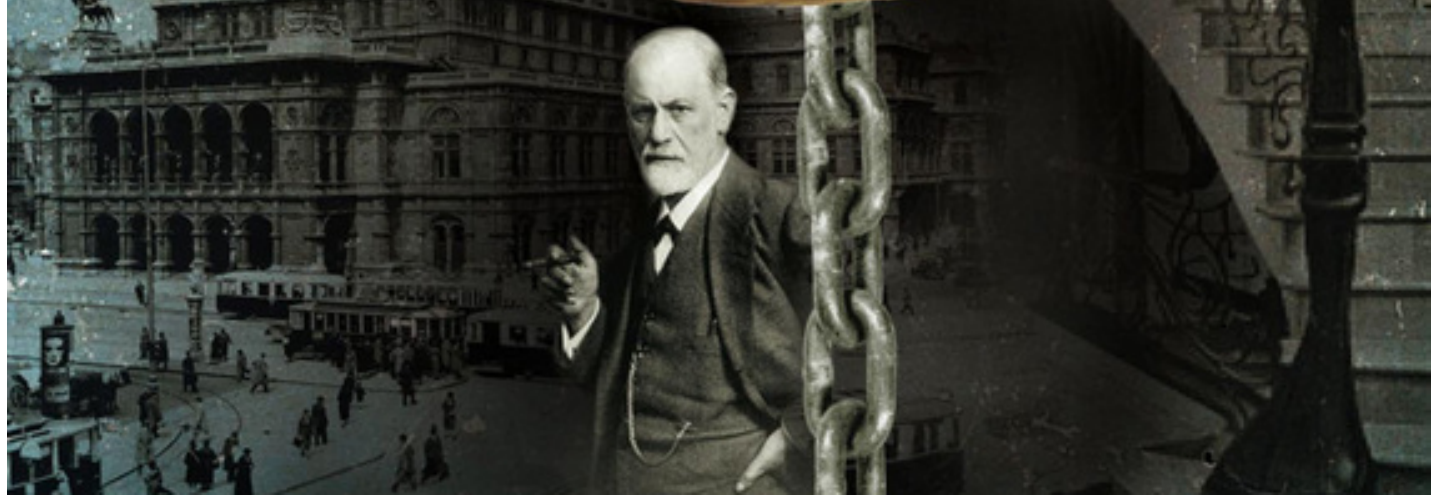
ЭТОТ РОМАН ПРЕДСТАВЛЯЕТ  
ИНТЕРЕС ДЛЯ ВСЕХ,

КТО ЗАДУМЫВАЕТСЯ О СУЩНОСТИ НАШЕГО МИРА.



# Сестра Зигмунда Фрейда

[ РО М А Н ]



Гоце Смилевски  
**Сестра Зигмунда Фрейда**

«Центрполиграф»

2013

## **Смилевски Г.**

Сестра Зигмунда Фрейда / Г. Смилевски — «Центрполиграф»,  
2013

История, основанная на реальных событиях, рассказана от лица Адольфины, младшей сестры Зигмунда Фрейда, пережившей не одну потерю и смилившейся с несбыточностью мечтаний. Перед читателем приоткрываются тайны человеческой души, снов, безумия, любви и ненависти; и в этот причудливый узор рассуждений вплетаются воспоминания главной героини о жестоких поступках матери, о счастливых днях, проведенных с братом в библиотеке среди философских трактатов, о немецкой оккупации, о трудовых буднях в концлагере и, наконец, о собственной смерти.

# Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

33

## Гоце Смилевски

### Сестра Зигмунда Фрейда

Старуха лежала во мраке комнаты и, закрыв глаза, перебирала свои самые ранние воспоминания. Нашлось три воспоминания: в то время, когда для нее еще не все вещи в мире обрели имена, какой-то мальчик подал ей острый предмет и сказал: «Нож»; в то время, когда она еще верила в сказки, чей-то голос шептал ей о птице, которая клювом раздирает себе грудь и вырывает сердце; в то время, когда прикосновения значили для нее больше, чем слова, чья-то рука приблизилась к ее лицу и нежно покатала яблоко по щеке. Этот мальчик из прошлого, который ласкал ее яблоком, нащептывал сказку и подавал нож, – ее брат Зигмунд. А старуха, которая предается воспоминаниям, – это я, Адольфина Фрейд.

– Адольфина, – послышалось из мрака комнаты. – Ты спишь?

– Нет, не сплю, – ответила я. Рядом со мной на кровати лежала моя сестра Паулина.

– Который час?

– Наверное, около полуночи.

Сестра будила меня каждую ночь и одними и теми же словами начинала свою обычную историю:

– Это конец Европы.

– Европе уже много раз приходил конец.

– Они поубивают нас, как собак.

– Знаю, – ответила я.

– И тебе не страшно?

Я промолчала.

– Так было и в Берлине в 1933 году, – снова заговорила Паулина. Я уже не пыталась ее перебивать, хотя она рассказывала мне об этом много раз. – Национал-социалистическая партия и Адольф Гитлер пришли к власти, и молодежь замаршировала под военную музыку. Так же как сейчас марширует здесь. На зданиях развевались флаги с крючковатым крестом. Так же как сейчас развеваются здесь. Из радиоприемников и громкоговорителей, установленных на площадях и в парках, раздавался голос фюрера. Так же как сейчас раздается здесь. Он обещал новую Германию, добрую Германию, более чистую Германию.

Шел 1938-й, а за три года до этого мои сестры, Паулина и Марие, покинули Берлин и вновь поселились в доме, из которого уехали после замужества. Паулина была почти слепа, и кто-то должен был постоянно находиться рядом. Она спала на кровати, которую раньше занимали наши родители, а подле нее ложилась то я, то Марие. Мы менялись, потому что Паулина просыпалась каждую ночь, и та из нас, кто была с ней в комнате, оставалась без сна.

– То же самое будет и здесь, – продолжала сестра. – А ты знаешь, как было там?

– Знаю, – сонно пробормотала я, – ты мне рассказывала.

– Да. Рассказывала. Люди в форме по вечерам врываются в еврейские дома, крушили все вокруг, били нас и вышвыривали прочь. Все те, кто не был согласен с фюрером и осмеливался заявить об этом, сразу же исчезали без следа. Говорили, что врагов идеалов, на которых предстояло построить новую Германию, ссылали в лагеря и принуждали к тяжелому труду. Там их мучили и убивали. Так же будет и здесь, поверь мне.

Я верила, но молчала, так как любое мое слово подталкивало ее продолжить рассказ. За несколько недель до этого в Австрию вошли немецкие войска и захватили власть. Предчувствуя опасность, наш брат Александр с семьей бежал в Швейцарию. На следующий день границы закрыли, а все желающие уехать должны были обращаться в недавно открытый центр выдачи виз. Тысячи людей подали заявления, но лишь некоторые из них получили разрешение покинуть страну.

– Нам не позволяют свободно выезжать из страны, значит, у них на нас какие-то планы, – сказала Паулина. Я молчала. – Сначала у нас все отнимут, а потом нас же бросят в могилу. Несколько дней назад к нашей сестре Розе пришли люди в форме и показали ей документ, где было написано, что ее квартира и все вещи подлежат конфискации.

– Сейчас на кроватях, на которых спали мои дети, спят какие-то офицеры, – посетовала Роза в тот день, когда переселилась в дом, где жили Паулина, Марие и я. С собой она принесла только несколько фотографий и кое-какую одежду. Так что теперь мы, четыре сестры, живем вместе в одном доме, как раньше.

– Ты меня слушаешь? Нас бросят в могилу, – повысила голос Паулина.

– Ты каждую ночь рассказываешь мне одно и то же, – не выдержала я.

– И ты все равно ничего не делаешь.

– А что я могу сделать?

– Можешь пойти к Зигмунду и убедить его достать для нас визы.

– И куда мы поедем?

– В Нью-Йорк, – ответила Паулина. В Нью-Йорке жила ее дочь. – Ты знаешь, что Беатриса волнуется за нас.

Проснулись мы около полудня; я взяла Паулину под руку, и мы отправились прогуляться. Мы медленно шли по тротуару, когда мимо проехало несколько грузовиков. Они остановились, на улицу выскочили солдаты и затолкали нас в один из автомобилей. Внутри было уже полно перепуганных людей.

– Нас везут на смерть, – сказала моя сестра.

– Нет, вас везут в парк, чтобы немного позабавиться, – рассмеялся один из солдат, услышавший ее слова.

Автомобили кружили по еврейскому кварталу, в котором мы жили, и время от времени останавливались для того, чтобы подобрать еще людей. Потом нас действительно отвезли в парк, в Пратер, вытолкали из грузовиков и заставили бегать, приседать, прыгать, а ведь почти все мы были старыми и немощными. Когда мы падали от усталости, солдаты пинали нас по ребрам. Все это время я держала Паулину за руку.

– Пощадите хотя бы мою сестру. Она слепая, – наконец попросила я солдат.

– Слепая?! – засмеялись они. – Вот потеха-то будет!

Они заставили сестру идти одну, связав ей за спиной руки, чтобы она не могла двигаться на ощупь, и Паулина шла, пока не наткнулась на дерево и не упала. Я подбежала к ней, опустилась на колени и стерла с ее лица грязь и кровь, которая текла из раны на лбу. Солдаты смеялись: в их голосах слышались сладкая беззаботность и кислое наслаждение при виде чужой боли. Потом нас отвели к границе парка, выстроили в ряд и нацелили на нас ружья.

– Повернитесь! – приказали нам.

Мы повернулись спиной к дулам.

– А теперь бегите что есть мочи, если хотите жить! – выкрикнул кто-то из солдат, и сотни старческих ног понеслись; мы бежали, падали, вставали и снова бежали, а в спину нам летел смех, наполненный сладкой беззаботностью и кислым наслаждением при виде чужой боли.

Тот вечер Роза, Паулина, Марие и я провели в молчании. Паулина дрожала – не столько от страха за собственную жизнь, сколько от мысли, что больше никогда не увидит самого близкого человека, ту, которая появилась из ее утробы. Дети Розы и Марие умерли, а единственным следом моей так и не сложившейся семьи было побледневшее кровавое пятно на стене у кровати. Говорят, что тем, кто оставил потомков, тяжело уйти из этого мира – смерть отрывает жизнь, которую они получили, от жизни, которую дали. Паулина сидела в углу комнаты и дрожала, предчувствуя этот разрыв.

На следующий день я пошла к Зигмунду. Был полдень пятницы – время, когда Зигмунд занимался чисткой антиквариата в своем кабинете. Я хотела рассказать ему о том, что мы с Паулиной пережили вчера, но он показал мне вырезку из газеты.

– Посмотри, что написал Томас Манн, – сказал он.

– Марие и Паулина боятся все больше, – произнесла я.

– Боятся... чего? – спросил он, положив газетную вырезку на стол.

– Говорят, и здесь будет то же самое, что в Берлине.

– То, что они видели в Берлине... – Он взял со стола один из антикварных предметов, каменную обезьянку, и принялся чистить щеткой маленькую фигурку. – Ничего подобного здесь не произойдет.

– Уже происходит. Эти монстры врываются в жилища нашего квартала, избивают всех, кто им попадется. На прошлой неделе сотни людей покончили жизнь самоубийством. У них больше не было сил терпеть. Озверевшие солдаты нагрянули в еврейский сиротский приют, разбили окна и заставили детей бегать по осколкам стекла.

– Заставили детей бегать по осколкам стекла... – Зигмунд продолжал начищать каменное тело обезьянки. – Все это долго не продлится.

– Тогда почему все, кто могут, бегут отсюда? Ты встречал на улицах тех, кто бежит? Они уезжают из своих домов, уезжают навсегда – бросают самое необходимое в пару сумок и уезжают, чтобы спасти свою жизнь. Говорят, что и тут откроют лагеря смерти. У тебя есть влиятельные друзья здесь и в других странах, они могут посодействовать – и ты получишь столько виз, сколько попросишь. Попроси на всю семью. Половина жителей Вены хотят такие визы, но не могут их получить. Используй свои связи, и мы вырвемся отсюда.

Зигмунд поставил обезьянку на стол, взял статуэтку богини-матери и принялся начищать ее голое тело.

– Ты меня слышишь, Зигмунд? – спросила я сухим усталым тоном.

Брат посмотрел на меня:

– И куда бы вы потом отправились?

– К дочери Паулины.

– Что будет делать дочь Паулины с вами, четырьмя старухами, в Нью-Йорке?

– Тогда попроси визу только для Паулины.

Он смотрел на голую богиню-мать, и я не была уверена, что он меня слушает.

– Ты слышишь? Роза, Марие и я никому не нужны, но Паулина должна быть со своей дочерью. И дочь хочет быть с матерью. Ей нужно, чтобы мать была в безопасности. Она каждый день умоляет нас попросить тебя выхлопотать визу. Ты меня слушаешь, Зигмунд?

Он поставил статуэтку на стол:

– Давай я прочитаю тебе несколько строк из статьи Манна? Она называется «Брат Гитлер». – Он взял вырезку и начал: – «Насколько же Гитлер должен ненавидеть психоанализ! Меня не покидает чувство, что та ярость, с которой он устремился в Вену, в сущности, была вызвана живущим там старым психоаналитиком, что именно он его истинный и главный враг – философ, исследующий невроз, великий разрушитель иллюзий, тот, кто понимает, что есть что, и хорошо знает подлинную гениальность». – Он вернул вырезку на стол и заметил: – С какой тонкой иронией Манн это пишет!

– Из того, что ты мне прочитал, только «старый психоаналитик» соответствует истине. Говорю это без иронии. А утверждение, что ты – главный враг Адольфа Гитлера, пусть даже ироничное, звучит как банальная глупость. Ты знаешь, что оккупация Австрии – лишь начало великого похода, который задумал Гитлер. Он хочет завоевать весь мир. И потом уничтожить всякого, кто не относится к арийской расе. Это знает каждый: и ты, и Манн, и даже я, несчастная старуха, это знаю!

– Тебе не стоит волноваться. Амбиции Гитлера не могут осуществиться. Франция и Британия быстро заставят его вывести войска из Австрии, а потом он потерпит поражение и в самой Германии; поддержка, которую они сейчас оказывают Гитлеру, – всего лишь временное помрачение рассудка.

– Это помрачение длится годами.

– Верно. Но оно закончится. Немцами сейчас руководят темные силы, но где-то в глубине тлеет тот дух, который сформировал и меня. Безумие этого народа не может быть вечным.

– Оно продлится долго, – стояла я на своем.

Мой брат с детства восторгался немецким духом, уже тогда он приобщал нас, сестер, к своей любви. Он уверял нас, что немецкий язык – единственный язык, который во всей полноте может выразить самые высокие полеты человеческой мысли. Он распространял свою любовь и на немецкое искусство, учил нас гордиться тем, что мы, евреи по происхождению, живем на австрийской земле и все же принадлежим немецкой культуре. А сейчас, когда он уже не один год наблюдал, как разлагается немецкий дух и как сами немцы попирают драгоценные его плоды, он, словно пытаясь убедить самого себя, постоянно повторял, что это безумие продлится недолго, а затем немецкий дух снова воспрянет.

С того дня всякий раз, когда мы приходили к Зигмунду, нам говорили, что его нет дома, или он занят с пациентами, или ему нездоровится и он не может выйти. Мы спрашивали, собирается ли он получать визы на выезд из Австрии, но его дочь Анна, жена Марта и ее сестра Мина отвечали, что ничего об этом не знают. Мы уже месяц не видели нашего брата. И 6 мая, на его восемьдесят второй день рождения, решили с Паулиной его навестить. Взяли скромный подарок, книгу, которая, по нашему мнению, ему бы понравилась, и направились на улицу Бергассе, девятнадцать.

Дверь нам открыла Анна.

– Вы застали нас за работой, – сказала она, отступая, чтобы впустить нас.

– Какой работой?

– Укладываемся. Мы отослали десяток больших коробок вчера и позавчера. Осталось только просмотреть папины подарки и выбрать то, что нужно взять с собой.

– Вы уезжаете? – спросила я.

– Не сейчас, но хотим поскорее все упаковать.

По всему кабинету брата были разбросаны сувениры, книги, коробки различных размеров, антиквариат – все то, что когда-то ему подарили, а он сохранил. Зигмунд сидел в большом красном кресле в центре комнаты и смотрел на вещи, раскиданные вокруг. Он повернулся к нам, кивнул и снова обратил взгляд на беспорядок. Мы сказали, что пришли пожелать ему счастливого дня рождения. Он поблагодарил нас и положил подарок на стол рядом с собой.

– Как видишь, мы уезжаем. В Лондон, – произнес он.

– Могу помочь собраться, – предложила я.

Анна сказала, что будет подавать мне ненужные вещи, а я – класть их в коробку на выброс. Остальные вещи потом отправят по почте в Лондон. Паулина осталась стоять у стены.

– Этот портсигар? – спросила Анна, вертясь вокруг отца и показывая ему серебряную коробочку, инкрустированную несколькими зелеными камушками.

– Это подарок твоей матери. Берем.

Анна положила портсигар в коробку рядом с собой.

– А это домино из слоновой кости? – спросила она.

Зигмунд задумался на несколько мгновений, затем ответил:

– Не помню, от кого оно. Выброси.

Анна передала мне домино, и я опустила его в ближайшую коробку, где громоздились книги, сувениры, безделушки, обреченные на выброс.

– Это? – спросила Анна и, подняв книгу, поднесла ее поближе к глазам Зигмунда.

– Эта Библия – подарок от твоего деда Якоба на мой тридцать пятый день рождения. Возьмем.

Анна сказала, что очень устала, работая с самого утра, и хочет немного передохнуть. Она удалилась в столовую размять ноги и выпить воды.

– Значит, ты все-таки запросил визы на выезд из Австрии, – обратилась я к брату.

– Запросил, – сказал он.

– Но ты же убеждал меня, что нет причин для бегства.

– Это не бегство, а временный отъезд.

– И когда вы уезжаете?

– Марта, Анна и я в начале июня.

– А остальные? – спросила я. Брат молчал. – Когда уезжаем Паулина, Роза, Марие и я?

– Вы не едете.

– Нет?

– Нет необходимости, – произнес он. – Я еду не потому, что так хочу, а потому, что мои приятели – дипломаты из Британии и Франции настояли на том, чтобы местные власти выдали мне визу.

– И?..

Брат мог поломать комедию: уверить нас в том, что какой-то иностранный дипломат выхлопотал разрешение на то, чтобы выпустили детей Зигмунда, его самого и жену, а он сам был не в состоянии спасти остальных. Он мог поломать комедию, но этот жанр ему не подходил.

– Мне позволили составить список самых близких людей, готовых уехать из Австрии вместе со мной, – сказал он.

– И ты ни на мгновение не подумал, что мог вписать туда и нас.

– Нет. Это временно. Мы вернемся.

– Даже если вы вернетесь, нас уже не будет.

Он молчал. Затем я сказала:

– Я не вправе спрашивать, и все же... Кто в этом списке твоих близких людей, которых необходимо спасти?

– Правда, кто в этом списке? – вторила мне Паулина.

Брат мог поломать комедию: сказать, что вписал только свое имя, имена детей и супруги, то есть имена самых близких людей, которых службы разрешили спасти; он мог поломать комедию. Но этот жанр ему не подходил.

Он извлек откуда-то лист бумаги:

– Вот он, список.

Я пробежала глазами по именам на бумаге.

– Прочитай и мне, – попросила Паулина.

Я стала читать вслух. Там были мой брат, его жена, их дети со своими семьями, сестра жены Зигмунда, две домработницы, личный доктор брата и его семья. И в самом конце – Жо Фи.

– Жо Фи, – усмехнулась Паулина и повернулась в ту сторону, откуда доносился голос Зигмунда. – Ну конечно, ты никогда не разлучаешься со своей собачкой.

В комнату вернулась Анна:

– Я не спросила, хотите ли вы что-нибудь выпить или, может, поесть?

– Нам не хочется ни пить, ни есть, – ответила я.

Паулина, будто не расслышав слов Анны и моих, продолжала:

– Действительно, очень мило с твоей стороны, что ты позаботился обо всех этих людях.

Ты подумал и о своей собачке, и о домработницах, и о докторе и его семье, и о сестре своей жены. Но ты мог бы вспомнить и о своих сестрах, Зигмунд.

– Я бы вспомнил, будь такая необходимость. Но это временно, мои друзья настаивали на том, чтобы я уехал.

– А почему твои друзья так настаивали, если оставаться здесь на самом деле не опасно? – спросила я.

– Потому что они, как и вы, не понимают, что скоро все кончится, – объяснил Зигмунд.

– Почему бы тогда не уехать тебе одному – так, ненадолго, просто чтобы успокоить друзей? Почему ты едешь не один, а берешь с собой не только семью, но и доктора с его домочадцами, двух домработниц, сестру своей жены и даже собачонку? – спросила я.

Зигмунд молчал.

– А я, Зигмунд, – начала Паулина, – я, в отличие от Адольфины, тебе верю. Верю в то, что этот ужас не продлится долго. Но моя жизнь еще короче. А у меня дочь. Ты, Зигмунд, мог бы вспомнить о своей сестре. Нужно было вспомнить обо мне и о том, что у меня есть дочь. Конечно, ты помнил, потому что, как только я приехала из Берлина, а моя Беатриса поселилась в Нью-Йорке, я постоянно говорила о ней. Я не видела ее три года. А ты мог, всего лишь вписав мое имя, дать мне шанс увидеть дочь еще раз. – На слове «увидеть» она закатила глаза, способные различать лишь очертания предметов. – Ты мог бы вписать мое имя между именем сестры твоей жены и кличкой собачонки. Мог бы вписать его и после собачонки, и этого было бы достаточно, чтобы я смогла покинуть Вену и встретиться с Беатрисой. А теперь мы больше не увидимся.

Анна попыталась обратить наше внимание на вещи: еще осталось то, что нужно упаковать, а остальные – выбросить.

– А это? – спросила она, держа на ладони сувенир из дерева – гондолу размером с палец.

– Не знаю, от кого это, – сказал Зигмунд. – Выброси.

Анна передала мне гондолу, мой подарок на двадцать шестой день рождения брата. С тех пор я ее не видела, и вот она передо мной, словно переплыла море времени. Я осторожно положила ее в коробку с вещами, которые скоро отправятся на свалку.

Мой брат встал, выпрямился, подошел к противоположной стене, где висел наш портрет – сестер и братьев Фрейд. На нем мы были на семьдесят лет моложе. Александр, которому тогда было всего полтора года, позже вспоминал, что как-то Зигмунд, указав на картину, сказал ему: «Наша семья похожа на книгу. Ты самый младший, а я – самый старший, и мы с тобой, словно твердый переплет, должны поддерживать и защищать наших сестер, рожденных после меня и до тебя». И сейчас, много лет спустя, мой брат потянулся к полотну.

– Картину запакуем отдельно, – сказал Зигмунд, пытаясь снять ее со стены.

– У тебя нет на нее права, – заметила я. Брат обернулся.

– Нам надо идти, – вмешалась Паулина.

У выхода мы столкнулись с сестрой жены Зигмунда – она откуда-то возвращалась. Сказала, что ходила покупать кое-какие мелочи, на следующий день она уже уедет из Австрии.

– Счастливого пути, – пожелала ей Паулина.

Я держала сестру за руку и вела к нашему дому. Потому, как сильно она сжимала мои пальцы, я поняла, *что* она чувствует. Время от времени я поглядывала на нее – на ее лице застыла улыбка, какую некоторые слепцы сохраняют постоянно, даже когда чувствуют страх, гнев или ужас.

Душным утром в начале июня Паулина, Марие, Роза и я отправились на железнодорожную станцию, чтобы проводить брата, Марту и Анну, последних из списка Зигмунда, покидавших Вену. Они втроем стояли у открытого окна купе, а мы вчетвером – на перроне. Брат держал на руках собачку. Раздался свисток, оповестив о том, что поезд отправляется. Собачка тряслась от страха и, совсем обезумев, укусила Зигмунда за указательный палец. Анна достала носовой платок и перевязала ему окровавленный палец. Свисток прозвучал еще раз, поезд тронулся.

Брат поднял руку в знак прощания; один палец был замотан, остальные четыре – согнуты, так он и махал нам, выпятив указательный палец, перевязанный окровавленным носовым платком.

С тех пор каждый раз, думая об этом прощании и окровавленном пальце моего брата, я вспоминала его произведение «Моисей и монотеизм»; рукопись он оставил нам, своим сестрам, вероятно опасаясь потерять собственный экземпляр.

«Лишить народ человека, которого он прославляет как величайшего из своих сынов, – не из тех поступков, на которые решаешься с легким сердцем, особенно если сам принадлежишь к этому народу» – так начинался «Моисей и монотеизм», и в этом предложении брат выразил цель своего произведения: отнять Моисея у своего народа, доказать, что Моисей – не еврей.

Он не только провозгласил Моисея «знатным египтянином, который, возможно, был принцем, жрецом или аристократом», но и противопоставлял евреев того времени Моисею, называя их «культурно отсталыми пришельцами». Он задался вопросом, что же заставило такого видного человека покинуть свою страну вместе с этими «культурно отсталыми пришельцами», и нашел ответ: Моисей был приверженцем первой монотеистической религии, которую ввел фараон Эхнатон. Именно он в XIV веке до н. э. упразднил многобожие, под страхом смерти запретив своему народу поклоняться тем богам, в которых он верил тысячами, а единственным богом провозгласил Атона.

Спустя семнадцать лет после создания нового культа фараон умер. Прежние жрецы, лишенные привилегированного положения во времена правления Эхнатона, ведомые фанатичной ненавистью и жаждой мести, подвигли людей, так и не забывших своих древних богов, разрушить храмы и низвергли монотеизм, возродив исконную веру. Моисей, который, как считал брат, был тесно связан с фараоном Эхнатоном, не мог отречься от своих убеждений и поэтому изобрел план «создания новой империи, с новым народом, которому можно было даровать религию, отвергнутую египтянами». Таким образом, согласно этому труду, евреи были избраны не Богом, а Моисеем из Египта: «их-то он и избрал на роль своего нового народа».

На самом деле, по словам моего брата, тогда они еще не были народом. В те времена они представляли собой разрозненные «семитские племена» и жили в «пограничной провинции». Моисей объединил их, желая распространить веру в единого всемогущего бога Атона, – и затем отправился с ними на поиски святой земли. Но эти люди не могли отказаться от своих старых верований, от своего семитского многобожия, и всякий, кто отрицал нового бога, был казнен по приказу Моисея его ближайшими приверженцами. Так что Моисей, уверял мой брат, умер не от старости, как сказано в Библии, а «был убит евреями, а основанная им религия – заброшена».

А что же случилось с ними после того, как они убили пастыря, избравшего их на роль своего нового народа и проповедовавшего им, что они избраны Богом? Позже они объединились с родственными племенами, жившими в регионе между Палестиной, Синайским полуостровом и Аравией, и здесь, в месте, известном богатством источников, названном Кадеш, переняли от мидианитов новую религию – поклонение богу вулканов Ягве.

По словам моего брата, культ Ягве среди евреев распространял мидианитский пастух, носившей то же имя, что и египетский вождь, – Моисей; но этот другой Моисей, под чьим руководством еврейский народ завоевал землю Ханаана, проповедовал веру в бога, совсем не похожего на Атона. Ягве поклонялось аравийское племя мидианитов. Он был «жутким, кровожадным демоном, который появлялся только ночью и избегал дневного света»; «грубый, примитивный провинциальный божок, кровожадный и яростный», пообещавший дать своим поклонникам «землю, текущую молоком и медом» и повелевший изгнать ее обитателей «силой меча», резко контрастирует с образом, представленным в проповедях Моисея, который дал евреям «совершенно иную и более одухотворенную концепцию Бога – единственного Бога, которому подчинен весь мир, столь же вселюбящего, сколь и всеильного» и который «про-

возглашает высшей задачей человечества жить по справедливости и не по лжи». Хотя «египетский Моисей никогда не был в Кадеше и не слышал имени Ягве, тогда как мидианитский Моисей никогда не бывал в Египте и ничего не знал об Атоне», они слились в одного человека, потому что «Моисееву религию мы знаем только в ее окончательной форме, запечатленной еврейскими жрецами через восемь веков после Исхода», а в то время оба Моисея уже слились в единый образ, а Атон и Ягве – в единого бога, имеющего два лика, противоположные как день и ночь именно потому, что два бога соединились в одном.

«Лишить народ человека, которого он прославляет как величайшего из своих сынов, – не из тех поступков, на которые решаешься с легким сердцем, особенно если сам принадлежишь к этому народу. Никакие соображения, однако, не заставили бы меня отказаться от истины в пользу так называемых „национальных интересов“...» – этими словами мой брат начинает свое последнее произведение. Но «Моисей и монотеизм» – это не только поиск истины; оно содержит в себе и отрицание того, что Моисей был евреем; и осуждение евреев, которые убили Моисея. Поэтому в нем слышатся ненависть и жажда мести. Ненависть к своим, месть своим; а в чем причина?

Принадлежность к еврейскому народу была для моего брата прихотью судьбы, чем-то, данным ему от рождения, это не было его выбором. Там, где не существовало возможности выбора – по крови, – он был евреем. Там же, где такая возможность была, он выбирал немецкую культуру: хотел принадлежать ей, чувствовал, что плоды этой культуры принадлежат ему. В конце жизненного пути он сказал:

– Мой язык – немецкий. Моя культура, мои достижения – немецкие. Я считал себя близким духом к немцам до тех пор, пока не заметил ростки антисемитских предрассудков в Германии и Германской Австрии. С того момента я предпочитаю называться евреем.

Так и сказал «предпочитаю называться евреем», а не «чувствую себя евреем». Когда его спрашивали: что же в тебе осталось еврейского, если ты отказался от всего, что связывало тебя с твоими соплеменниками, – и от религии, и от национального чувства, и от традиций и обычаев, он отвечал:

– Она – самое важное. – Он никогда ее не называл, но подразумевал: кровь, то, что ты не можешь выбрать.

К своей крови он испытывал отвращение, и даже Моисея, освободившего еврейский народ, давшего ему законы и веру, он считал не-евреем, а по любому его высказыванию, где упоминались не-еврей Моисей и евреи, можно было понять, какие именно чувства он питает к не-еврею, а какие – к своему народу: «Как мог человек в одиночку совершить нечто подобное: из общей безликой массы отдельных индивидуумов и семей создать народ, сформировать его сущностные черты и определить судьбу на целые тысячелетия вперед?»

В конце «Моисея и монотеизма» мой брат утверждает, что евреи сами были виноваты в тех муках, которые претерпели в течение тысяч лет. Истоком религиозного верования является отцеубийство, говорил он, и религия в своем изначальном виде – попытка искупить грех, который совершили сыновья, убив своего отца из-за желания превзойти его. В дальнейшем они стали поклоняться ему.

В основе христианства, говорил брат, лежит признание совершенного злодеяния. Посредством убийства Христа человеческий род признает, что некогда убил своего отца. Христианство было создано евреями и распространялось ими же, но «лишь часть еврейского народа приняла новую доктрину. Те, кто отверг ее, до сих пор называются евреями. Этим решением они еще более резко, чем раньше, отделили себя от остального мира. Им пришлось услышать от нового религиозного сообщества (которое, помимо обратившихся евреев, включало египтян, греков, сирийцев, римлян, а под конец и тевтонов) обвинения в том, что они, евреи, убили нового бога. В действительности в своей очищенной от бессознательных искажений форме это обвинение должно было бы звучать так: „Они не хотят признать, что некогда

участвовали в убийстве Отца, тогда как мы это признали и, принеся в жертву Сына, очистились от греха“. В такой форме легче увидеть, какая правда стоит за этим обвинением. Почему евреи не захотели участвовать в том прогрессе, который начался с этого, пусть и деформированного, замаскированного признания христиан в убийстве Отца, – это вопрос, достойный особого исследования. Но из-за этого им пришлось, так сказать, „взять на себя“ трагическую изначальную вину всего человечества. Им предстояло дорого за это расплатиться».

Таким образом, евреи сами стали причиной своих страданий, любому преступлению по отношению к ним мой брат нашел оправдание. Он сделал это тогда, когда ему была необходима поддержка его народа, тогда, когда кровь, текущая в наших венах, стыла от ужаса, от которого трепетали и наши предки.

Задолго до написания «Моисея и монотеизма» мой брат впитал вкус страдания евреев, изгоняемых в чуждые им земли, проклинаемых из-за отличных религиозных убеждений и отличного происхождения, сжигаемых потому, что те, другие, которые считали себя правоверными, на протяжении столетий ложно обвиняли их в отравлении колодезной воды, распространении чумы, заключении договоров с дьяволом; еще с молоком нашей матери он впитал этот горький вкус.

Мы выпитываем этот горький опыт предков с молоком матери, а потом хороним его, желая стать частью новой Европы, забывая о том, что однажды Европа снова вопьется в нас своей кровожадной пастью. Поверив в новую Европу, мы забыли судьбу наших близких и далеких предков, забыли о той крови, которая была из них высосана за то, что они были другой крови, забыли бесчисленные судьбы униженных, ложно обвиненных, изгнанных, замученных, умерщвленных, покинутых и Богом, и дьяволом. Мы забыли их, забыли их кровь; мы – кровь от их крови. И мой брат, вспомнив о тех, чья кровь течет и в наших жилах, лишь вскользь упомянул об их страданиях и в этих страданиях обвинил их самих – страдальцев: «Но из-за этого им пришлось, так сказать, „взять на себя“ трагическую изначальную вину всего человечества. Им предстояло дорого за это расплатиться».

Всю жизнь брат в своих сочинениях пытался доказать, что в основе существования рода человеческого лежит вина: каждый виновен, потому что каждый когда-то был ребенком, а всякий ребенок в борьбе за материнскую любовь желал смерти своему сопернику – отцу. Так говорил мой брат Зигмунд. Он обвинял самых безгрешных; самые невинные и самые беспомощные были носителями первородного греха. Тех, кто только начинал жить, он обвинял в том, что они возжелали смерти тех, кто даровал им эту жизнь.

В отношении себя к этой вине, которая, по его мнению, была присуща всякому человеческому существу, он добавлял еще одну: он помнил, как в возрасте полутора лет пожелал смерти только что родившемуся брату Юлиусу, и тот умер шестью месяцами позже.

Значит, мой брат был также и Каином, и к нему относились слова Бога: «Что ты сделал? Послушай! Кровь твоего брата взывает ко Мне от земли». Был он и Ноем, который накануне Потопа вошел в ковчег, а вместе с ним – его семья и «всякий зверь по своему роду, всякое домашнее животное по своему роду, всякоедвигающееся животное, которое передвигается по земле, по своему роду, и всякое летающее создание по своему роду, всякая птица, всякое крылатое создание».

Только для нас четверых не нашлось места в списке брата. Он был Эдипом, был Каином, был Ноем, но в своих сокровенных мыслях мечтал быть пророком, потому и отнял Моисея у евреев – он сам жаждал стать единственным, всевышним, самоначальным – именно так мой брат представлял того, кого люди провозгласили избранныком. Он мечтал вести народ к освобождению собственного Я, к освобождению человеческой сущности от оков гнета и мрачных глубин подсознательного, подобно Моисею, ведущему свой народ к свободе земли обетованной. И поэтому каждая страница книги о Моисее будто кричала: «Ни он, ни я – не евреи; я, как и он, божественный вождь и пророк!»

Тем вечером, когда наш брат навсегда покинул Вену, мои сестры тихо переговаривались о том, что он, будучи в Лондоне, заручится помощью своих друзей и постарается как можно скорее помочь и нам. Я слушала слова моих сестер, пропитанные ужасом, – а мне вместо апокалиптических картин виделся только поднятый перевязанный палец моего брата, которым он покачивал в воздухе.

Иногда из Лондона нам звонили Анна и Марта и сообщали о том, что Зигмунд перенес еще несколько операций на ротовой полости, но сейчас выздоравливает, хотя больше не может говорить. Из-за рака был также поврежден слуховой нерв, поэтому с ними он объясняется с помощью письма. Я вспомнила то время, когда мы были детьми и брат учил меня писать.

Марта и Анна рассказывали, что живут в красивом доме в тихом пригороде Лондона, и постоянно нас уверяли, что друзья Зигмунда делают все возможное, чтобы мы, его сестры, получили визу на выезд из Австрии, а затем поселились с ними.

А мы научились жить в страхе; это был страх не перед смертью, но перед издевательствами. Всех евреев заставляли носить на рукаве звезду Давида, чтобы нас легче было контролировать. Мы больше не могли посещать театр, оперу, концерты; не могли ходить в рестораны и парки; не могли пользоваться такси; нам разрешалось ездить на трамвае, но только в последнем вагоне; мы могли выходить из дома, но только строго в определенное время; и мы могли пользоваться всего двумя почтовыми отделениями в городе.

В сентябре нас посетил один из сыновей брата моей приятельницы Клары и сообщил, что она умерла в психиатрической клинике Гнездо, где провела много лет. Он предложил мне пойти с ним на похороны. Мои сестры гостили у нашей соседки, я оставила им записку.

За несколько месяцев до этого новая администрация внесла очередное изменение в жизнь города: издали приказ о запрете хоронить на городском кладбище умерших в специализированных клиниках, теперь это можно было делать только в парках больниц. Так их и закапывали – в парках, в неглубоких ямах, в простыне, заменявшей им гроб.

Я вошла в комнату. Клара лежала неподвижно. Мне сказали, что она умерла во сне. Ее лицо было очень спокойным, на нем не было и следа сна, жизни или смерти. Она лежала, свернувшись калачиком, с поджатыми ногами, головой прижатой к груди, обхватив руками живот. Тело ее уже окоченело. В таком положении мы завернули ее в простыню.

– Как зародыш, – сказала я, когда мы выносили ее из палаты, которую она называла маткой.

– Слишком велика для зародыша, но мала для человека, – заметил кто-то из докторов.

И действительно, никто бы и не подумал, что в простыню завернуто человеческое тело.

Шел сильный ливень, и нас, вышедших в парк, едва ли было больше двадцати человек. Остальные замерли у окон больницы и наблюдали через решетки. Мы опустили простыню с телом в приготовленную яму. Люди лопатами засыпали мертвую сырой землей.

Когда вечером я вернулась домой, мои сестры сидели в столовой. Роза посмотрела на меня покрасневшими глазами и сказала:

– Звонила Анна. На прошлой неделе умер Зигмунд.

– Умерла Клара. Сегодня ночью, – сказала я.

– Его кремировали.

– Сегодня мы похоронили ее во дворе больницы. Вырыли неглубокую могилу. У нас не было гроба. Мы завернули ее в простыню. Был дождь.

На улице лил дождь. Капли громко ударялись о стекло, и их стук звучал в такт нашим словам.

Я ушла в свою комнату. Легла на кровать и стала думать о брате. Я не пыталась представить последние минуты его жизни. Не пыталась нарисовать в своем воображении картину, как он лежит почти неподвижно. Не хотела слушать, как он, собирая последние крупинцы сил, заставляет себя вдохнуть и выдохнуть, не хотела знать, какие мысли крутились у него в голове

в те мгновения – мучила ли его мысль о сестрах, которые постоянно звонили ему и умоляли найти способ помочь им уехать из Вены, испытывал ли угрызения совести из-за того, что их, возможно, отправят в лагерь смерти. Я не пыталась представить последние минуты его жизни, мне было достаточно знать, что он мертв, обрел покой, избавился от телесной боли и душевных терзаний, потому что по ту сторону душа становится свободной от всех тревог и чувства вины. Только здесь душа не может полностью смириться с тем, что все так, как и должно быть, и она сделала то, что должна была сделать, дабы послужить некоему скрытому от нас высшему порядку.

Я проснулась вся в поту; дождь закончился, и мрак пробивался сквозь глубокую синеву облаков. Я вспомнила сон. Там был Зигмунд – мертвый.

– Я очень одинок, – сказал он. – Хотя «одинок» неподходящее слово. Кто-то может быть одинок и среди других. Посмотри, вокруг нет никого. Здесь нет никого.

– Все тут, – ответила я ему.

Он качнул головой:

– Нет, никого нет.

– Все здесь, – стояла на своем я, – тебе просто нужно найти их.

– Я ищу их, – сказал он. – Но никого нет. Здесь одна пустота. Посмотри – только свет и ничего, кроме него. А когда только свет, а вокруг него ничего, он пустой, полый, это самая страшная тюрьма, из которой невозможно сбежать, потому что бежать некуда. Мертвый свет повсюду. И в нем никого нет.

– Все здесь, – сказала я ему, – но ты слишком глубоко погрузился в себя, поэтому не можешь увидеть других.

– Нет, – возразил он. – Никого нет. А может быть, это и есть смерть: вечное существование, пребывание в сознании и абсолютное одиночество. Абсолютное одиночество. Было бы лучше, если бы после смерти я просто исчез, растворился. Когда-то я верил, что так и происходит после смерти. Даже угроза самого страшного ада не так ужасна, как эта проклятая обособленность, это вечное пребывание в мертвенной пустоте.

– Нет, – ответила. – Все мы здесь. Просто обрати свой взгляд на то, что вокруг тебя. Все мы здесь, и живые, и мертвые.

– Хотя бы ты останься, – попросил он.

– Я остаюсь. Мы все остаемся. Тебе просто нужно увидеть нас.

– Это наказание, – произнес он и, сжав руки в кулаки, медленно поднес их к лицу. – Я наказан этой страшной пустотой. – Он наклонил голову и уткнулся лбом в кулаки. – И я знаю, почему наказан.

– Ты не наказан, – возразила я.

– Я знаю свою вину, – продолжал он, не отрывая взгляда от кулаков. – Прости меня.

– Мне нечего тебе прощать, – ответила я. – Ты не совершил никакого зла. Ты упустил шанс сделать доброе дело; все мы за свою жизнь упускаем много шансов сделать что-нибудь хорошее. И не можем знать наперед, какое именно из этих упущений позволит злу поглотить другого человека.

– Прости меня, – повторил он.

Зигмунд стал меняться, перемещаться во времени далеко назад. Постепенно он уменьшился, достиг возраста, в котором я его еще не знала, за много лет до того, как я родилась. Он все уменьшался и уменьшался и в конце концов превратился в грудного ребенка. Голого плачущего младенца. Я взяла его на руки, обнажила свою обвисшую сморщенную грудь и поднесла к его рту. Я чувствовала необъяснимое удовольствие от прикосновения губ брата к моему соску, пока он пил молоко из моей вялой груди. И, осознавая свое пробуждение, я жалела о том, что это блаженство не продлится долго.

После смерти нашего брата Паулина, Марие, Роза и я иногда приходили к дому, в котором он жил вплоть до своего отъезда из Вены, и наблюдали за окнами его квартиры. Сейчас там жил какой-то человек в форме. Время от времени нас навещала соседка или приятельница, и мы говорили о том, что начнется война, «еще одна великая война», как все ее называли.

А потом война действительно началась. Молодых людей мобилизовали и отправляли на фронт. Составили списки, и жителей нашего квартала сажали в поезда и навсегда вывозили за пределы Вены. Говорили, что их отправляют на принудительные работы, но мы знали, что их ссылают в лагеря смерти. Мы знали и ждали своей очереди.

Однажды утром солдаты нагрянули и на нашу улицу, разнесли по домам списки и, пояснив, какие вещи можно взять с собой, приказали 29 июня этого, 1942 года в шесть часов утра быть на вокзале на окраине квартала.

Утром, за день до отъезда, мы собрали в небольшие чемоданы все, что могло нам пригодиться до конца жизни. День я провела, слоняясь по комнатам; я ходила из комнаты в комнату: прощалась с домом. Мои сестры рассматривали альбомы со старыми фотографиями – смеялись над одеждой, которую мы носили полвека назад, над серьезными лицами, над напряженной позой в момент фотосъемки. Время от времени я слышала вздох, конечно, по кому-то из умерших, изображенных на этих снимках, скорее всего по детям Розы и Марие. Еще не стемнело, когда я устала и прекратила бродить по дому, а мои сестры все продолжали рассматривать альбомы. Марие и Роза рассказывали Паулине, что видят на фотографиях, а Паулина расспрашивала их, водя пальцами по гладкой черно-белой поверхности.

Той ночью я спала спокойно, а проснувшись, встала на рассвете и посмотрела на след крови на стене у моей кровати. Бледный след, который от времени поблек еще больше, останется здесь, когда меня не будет, а потом исчезнет вместе с этой стеной, вместе с моим домом. Губами, которые теперь были годны только на то, чтобы через них испустить дух, но не на то, чтобы ими целовать, я поцеловала это засохшее кровавое пятно. Потом разбудила сестер; мы позавтракали, взяли свои чемоданчики и пошли. На пороге Паулина сказала:

– Мы забыли фотографии.

Роза и Марие запротестовали, а я приоткрыла свой чемоданчик и положила в него два альбома.

– Твой чемоданчик развалится – он и так переполнен, – заметила Марие и оказалась права.

Мы шли еще по нашей улице, когда чемоданчик раскрылся и мои вещи и альбомы вывалились на землю. Я взяла одну из фотографий – на ней были мы вчетвером, наши братья и родители – и засунула ее в правую чашечку бюстгальтера. Затем выудила из сломанного чемодана то, что мне не принадлежало, и засунула в левую чашечку.

– Зачем тебе детский чепчик? – с упреком поинтересовалась Марие.

– Чепчик? – спросила Паулина.

– Да, – объяснила ей Марие, – из всех своих вещей она выудила полуистлевший чепчик и приложила его к сердцу.

– К сердцу? – удивилась Паулина.

– В левую чашечку, – пояснила Марие.

– Давай какие-то вещи положим к нам, – предложила Роза, но их чемоданы тоже едва не разваливались.

– Нам скоро надо быть на вокзале, – ответила я. – Снимка и шапочки мне вполне достаточно.

– Не знаю, с чего тебе дался этот чепчик, – проворчала Марие. – Но ты бросаешь столько вещей, которые могут пригодиться.

– Я же сказала – то, что мне нужно, я взяла.

Мы шли к вокзалу, а на улицах было тихо. Зонтик, прислоненный к скамейке, цветы на балконе, пестрый мяч на тротуаре, но вокруг ни души, словно здесь никто никогда и не жил. Из одной части квартала все-таки доносились какие-то звуки – мы направились туда. Догнали длинную колонну людей, старающихся идти как можно быстрее, насколько им позволяла поклажа. За некоторыми бежали дети.

Я наблюдала, как люди крепко держат сумки, некоторые обхватили их руками и прижали к груди, и обнимали так отчаянно, словно внутри была заключена вся их жизнь, и сейчас они надеялись, что, стиснув их, зажав между грудью и руками, сохранят их и выживут. Мы знали, что они движутся к вокзалу. Присоединившись к толпе, мы пошли вместе со всеми.

Там стояли солдаты, и после проверки документов нас рассадили по вагонам товарного состава.

Не знаю, сколько мы ехали. А когда вышли из поезда, нас встретили солдаты и отвели в небольшой городок, обнесенный бревенчатой стеной. Раздали хлеб и воду и выстроили в шеренгу, чтобы проверить документы, записать имена, даты рождения, место жительства и затем разместить нас. Розу, Марию, Паулину и меня направили в группу из двадцати женщин нашего возраста, и нас, сгорбленных, семенящих неверной поступью с палками в руках, пытающихся рассмотреть нечто большее в окружающем пространстве, заглянуть немного дальше, нежели на несколько пядей вперед, сопровождали до ближайших барачков. Нас ввели в один из них – длинное тесное помещение. Вдоль стен сотня кроватей. Большинство из них занимали старухи. Некоторые бросили на нас взгляд, когда мы вошли, другие продолжали смотреть туда, куда смотрели до этого, – в потолок, на пол или попросту остались лежать с закрытыми глазами. Солдаты приказали нам выбрать себе кровать из свободных и скрылись.

Мы с сестрами искали четыре свободные кровати, стоящие рядом. Нашли только три; я заняла ближайшую. Каждая из новоприбывших положила свои вещи под выбранную кровать. Мне класть было нечего. Потом мы легли на кровати, сколоченные из досок и застланные старыми одеялами. Я чувствовала укусы блох. По полу время от времени пробежали крысы. Постепенно темнело. Свет фонаря за окном, у которого я лежала, давал мне возможность разглядеть немного пространства вокруг себя. Остальную часть помещения поглотил мрак. Я пыталась заснуть, но не могла. Я терла свое сморщенное тело там, куда пришли укусы блох, слушала вздохи женщин. Кровать слева от моей никто не занимал. Где-то в ночи, в темноте, скрипнула дверь, и я услышала шаги. Какая-то женщина легла на пустовавшее место. Она не была старухой. Ей было около пятидесяти. Я осторожно подвинулась к краю своей постели, и мой шепот прорезал пространство между нами:

– Где мы?

Она открыла глаза и ответила:

– В Терезине.

Больше я у нее ничего не спрашивала.

На следующее утро, когда я проснулась, моей соседки уже не было. Пришли солдаты и повели нас в столовую в другой части барака. Мы сели на длинные узкие скамьи вдоль столов, тянувшиеся от одного конца помещения до другого. Съели немного хлеба с маслом и попили чаю, затем вышли на улицу. Летнее солнце не могло прогреть наши кости, и мы, дрожа от холода, растирали ладони и водили ими вверх-вниз от бедер до колен. Когда мы пошли обедать, вновь появилась женщина, которая спала на кровати рядом с моей, и села около меня.

– Меню всегда одно и то же, – улыбнулась она. – На завтрак хлеб с маслом и чай. На обед хлеб и суп из чечевицы. А на ужин снова хлеб и суп из чечевицы.

Я кивнула. Я слышала женщин, окружавших нас. Каждая рассказывала о своей жизни – о муже, детях, внуках. Старуха, сидевшая напротив, которую, как я узнала позже, звали Йоганна Брех, говорила о своем сыне Германе. Старуха рядом с ней, Миа Краус, вместе с которой мы

ехали из Вены, рассказывала о внуках. Женщина рядом со мной заметила, что я слышу чужие беседы и пытаюсь не обращать на них внимания.

– Так они отгораживаются от того, что есть здесь и сейчас. Рассказывают о том, что было когда-то там, – пояснила она. Потом спросила: – Ты здесь со всей семьей?

– С сестрами, – ответила я, взглядом указывая направо, где сидели Паулина, Марие и Роза. – А ты?

Оказалось, у нее есть дочери, сама она разведена. Счастлива, что хотя бы дочери благодаря отцовской крови живут в безопасности в Праге. Я вспомнила свою сестру Анну, которая сразу после свадьбы уехала в Америку; вспомнила и братьев, Зигмунда и Александра.

Она продолжала:

– Нас три сестры – Эли, Вали и я. Мы все здесь. У нас был и брат. Франц. – Потом мы замолчали. Я медленно хлебала суп из чечевицы. Она положила ложку в опустевшую миску и сказала: – Всегда ем быстро. Приходится. Я помогаю в бараках, где разместили детей из сиротских приютов Праги и Вены. Сейчас иду к ним. – Она поднялась. Положила руку мне на плечо. – Меня зовут Отла. Отла Кафка.

– Я – Адольфина, – в ответ назвала себя я.

Она стиснула мое плечо, улыбнулась, затем убрала руку, повернулась и вышла.

Вечером Отла опять была в столовой. Я не спеша жевала чечевицу. Отла спросила меня:

– Уже привыкла здесь?

Я не могла ей ответить. Сказала: для того, чтобы привыкнуть, нужно знать, что это такое – «здесь», а я не знала.

Отла объяснила:

– Это лагерь. До зимы здесь был городок, потом они выселили местных и привезли нас. Те, кто моложе шестидесяти, работают по двенадцать часов в сутки. Строят бараки для новой партии людей – их скоро привезут, – или трудятся на огородах, чтобы у нас была пища. После работы те, кто еще не падает от усталости, могут заниматься тем, чем занимались до того, как попали сюда. Здесь есть музыканты и художники, актеры и балерины, писатели и скульпторы. Днем они месят, таскают песок, прибивают доски или копают землю. А вечером репетируют концерты или балетные выступления. Или сочиняют музыку, рисуют, пишут... Тебе стоит сходить на какой-нибудь концерт или спектакль.

– Давно не была ни на концерте, ни на спектакле. – Я отломил кусок хлеба, положила его в рот и стала жевать.

– Здесь нужно иметь какое-то дело. Меня поселили в этом бараке, чтобы я присматривала за пожилыми женщинами на случай, если им вечером станет плохо, а днем помогаю с детьми. Еще с несколькими женщинами мы учим малышей читать, писать, а тем, кто постарше, преподаем основы математики, географии и истории. Вместе с детьми убираем бараки, готовим еду. Самое лучшее – это чем-нибудь здесь заняться.

На следующий день Отла привела меня к детям. Они были разделены на несколько групп, с каждой из которых занималась женщина – что-то им объясняла. Отла заметила, что, хотя я и пыталась вслушаться, их слова не достигали моего сознания.

– Давай выйдем, – предложила она мне.

Мы сели на одну из скамеек у соседнего барака.

– Здесь разместили женщин на последних неделях беременности. Они рожают, проводят здесь несколько дней и возвращаются к работе. В одном из барачков несколько женщин ухаживают за новорожденными.

Отла засунула руку в карман. Я подумала, что она достанет рисунок с женщиной, стоящей на краю бездны. В руке она держала две фотографии.

– Это мои дочери, а это – мои сестры, брат и я. – Отла провела пальцами по снимку. – Это все, что у меня осталось от прошлой жизни. – Она убрала снимки. – Мой брат уже так

давно умер, что мне все сложнее вспомнить его лицо. – Она погладила карман платья. – Помню только один его рассказ «Горе холостяка». Может быть, я помню его не совсем точно, но иногда повторяю для самой себя. – Опустив взгляд на карман, она стала рассказывать: – До чего кажется скверно – остаться холостяком, в старости, с трудом сохраняя достоинство, просить, чтобы тебя приняли, если тебе захотелось провести вечер с людьми, болеть и неделями смотреть из угла своей постели на пустую комнату, всегда прощаться перед парадным, никогда не взбираться по лестнице рядом с женой, иметь в своей комнате лишь боковые двери, которые ведут в чужие жилища, приносить домой свой ужин в одной руке, любоваться чужими детьми и не сметь непрестанно повторять: «У меня нет их», уподобляться по внешности и повадкам одному или двум холостякам из воспоминаний молодости. Так оно и будет, только и в самом деле выступать в этой роли сегодня и потом будешь ты сам, с телом и головой, а значит, и со лбом, чтобы хлопать по нему ладонью.<sup>1</sup> – Потом она посмотрела на меня и добавила: – Будто в этих словах заключено все, что от него осталось. А где же все те мгновения, дни и годы, и все, что произошло за них? Будто его и не существовало...

Из барака вышли несколько женщин и сели на скамейку подле нашей. Они держали руки на животах, словно защищали своих детей. Мы познакомились – их звали Лина и Ева. Мы завели было разговор, но Отла напомнила, что пришло время мыться, и мы направились к нашему барaku.

Через полчаса молодые люди принесли в нашу спальню несколько больших пустых корыт и котлы с водой. Корыта поставили в центре комнаты, между рядами кроватей, а котлы – рядом с корытами. Затем они ушли.

– Поторопись, пока есть вода, – сказала Отла.

Я увидела, что все старухи стали торопливо раздеваться. Полуокоченевшими пальцами мы срывали с себя одежду, оголялись – на нас осталась только наша родная кожа, обвисшие груди и животы, темно-синие вены, покрывавшие наши ноги, искривленные руки, зловонное дыхание, смешивавшееся с кислым запахом тел. Одна из старух что-то сказала, но ее слова потонули в звуках, которые мы издавали, пытаясь первыми добраться до корыт, зачерпнуть посудыной воды из котла, облиться ею, натереть свое тело и выскрести как можно больше мерзости. И все это длилось не дольше нескольких минут, воды было ровно столько, чтобы грязь потекла с нас, но ее не хватило, чтобы нас отмыть. Потом мы вытерлись одеялами и простынями и оделись.

– Тебе повезло, что ты приехала сюда летом, помаленьку привыкнешь. Когда я первый раз так мылась, на улице все было покрыто льдом, – заметила Отла.

Вошли молодые люди, которые до этого таскали корыта и котлы, и все унесли. Только тогда я заметила, что Паулина все это время просидела на своей кровати. Я села рядом. Она узнала меня по дыханию и произнесла:

– Я осталась немойтой.

Отла вышла из барака и вернулась, только когда большинство из нас заснуло. Она легла на кровать, и я тихо спросила:

– Сколько мы здесь пробудем?

– Чем дольше, тем лучше. Это не настоящий лагерь, всего лишь перевалочный, попутная станция. Отсюда время от времени отправляются поезда и везут тысячи людей в другие лагеря. Там все по-другому. Работа более тяжелая, тяжелая до смерти. Так говорят те, кому удалось что-то узнать о тех местах. Говорят, будто людей заводят в помещения, где, как их убеждают, они могут принять душ. И там действительно есть душ, но только как декорация. А затем туда пускают отравляющий газ, и все задыхаются. Рассказывают и другие ужасы, но лучше тебе о них не знать... Поэтому хорошо бы мы остались здесь подольше. Пока зло не угомонится.

---

<sup>1</sup> Кафка Ф. Горе холостяка. Пер. С. Апта.

А потом мы отправимся домой. – Она закрыла глаза. Так, с закрытыми глазами, произнесла: – Не говори другим то, что услышала от меня. Здесь и так достаточно страданий. Не нужно было и тебе рассказывать. – Она немного помолчала, потом вымолвила: – Спокойной ночи, – и отвернулась.

Спокойной ночи... Я долго вертелась в постели, размышляя о том, что услышала от Отлы.

Утром после завтрака я пошла к баракам, где жили беременные. На одной из скамеек сидели Лина и Ева, с которыми мы с Отлой познакомились вчера, и еще две женщины. Я села поодаль, и когда, через некоторое время, Лина и обе незнакомки ушли в барак, Ева подошла ко мне и спросила, может ли сесть со мной. Мы разговорились, стали расспрашивать друг друга о том, откуда приехали. Она рассказала, что родилась в Праге, ее отец был торговцем, а мать работала в центре защиты прав трудящихся. Сразу после окончания гимназии она влюбилась в своего сверстника, через несколько лет они поженились. Лина была беременна, когда она и ее муж получили уведомление о переселении.

– Иногда лучшее случается в самые тяжелые времена, – произнесла она и посмотрела на свой живот. – Нас сюда привезли зимой одними из первых.

Мне досталась легкая работа – на кухне. Меня не заставляли тяжело трудиться, как других, я не голодала. И днем, по крайней мере, была в тепле, рядом с печью. Кроме как на кухне, где есть печь для готовки, согреться больше негде. По вечерам я боялась замерзнуть, боялась, что мой ребенок замерзнет. Муж отдал мне свое одеяло, но и оно не спасало. По ночам я клала руки на живот и согревала дитя. Потом наступила весна. Я отсчитывала время не по датам и годам, а по тому, на каком я месяце. Прошло тридцать девять недель. Уже недолго осталось. – Она положила руки на живот. – Несколько дней назад моего мужа и еще сотню людей отправили в другой лагерь. – Она убрала одну руку с живота и провела ею сначала по одной, потом по другой щеке, вытирая их. – Перед отъездом сказали, что там им будет лучше.

– Я уверена, им там лучше, – ответила я.

Вернувшись в наш барак, я сразу же отправилась в столовую на обед. Отлы там не было. Я торопливо съела свой суп из чечевицы и пошла в спальню. Отла в одиночестве сидела на своей кровати и собирала чемодан. Она положила часть своей одежды на мою постель и сказала:

– Это мне больше не понадобится, а я знаю, что ты приехала без ничего.

Я поблагодарила ее и спросила:

– Ты уезжаешь?

– Да. В другой лагерь отправляют целый вагон детей. Солдаты искали кого-нибудь из взрослых, чтобы сопроводить их. Я вызвалась. – Она взяла мою руку. – Я сказала детям, что везу их в путешествие.

Она обняла меня, взяла свой чемодан и вышла. Мне вспомнился ее рассказ об умерщвлении людей. Я представила, как Отла едет вместе с детьми в товарном поезде и рассказывает им, сбившимся в кучу в темноте вагона, о путешествии, которое их ждет, обещает, что они увидят море, будут играть в песке и купаться.

– А я не умею плавать, – жалуется ребенок.

– Научишься, – утешает его Отла.

Я представила, как их высаживают, приводят в незнакомое помещение и приказывают раздеться. Я почти слышала, как Отла сказала детям, что сначала они должны помыться, и каждому советовала внимательно следить за тем, где он оставляет одежду, потому что после душа нужно будет одеться очень быстро и поскорее бежать на пляж. Я мысленно наблюдала, как она стыдится своей наготы перед детьми, хотя человек вряд ли будет испытывать стыд, зная, что находится всего в нескольких шагах от смерти. И они делают эти несколько шагов – входят в помещение с душами. Они смотрят на эти души, она и дети. Они смеются – наконец-то они помоются теплой водой и ее будет вдоволь. Некоторые поднимают руки в ожидании струи. И тогда вместо воды из душа выпускают ядовитый газ. Отла смотрит на лица детей, смотрит,

как их черты искривляются в судороге, смотрит, как эти лица зеленеют, смотрит, как открываются их рты, требуя воздуха, смотрит, как они падают на пол, падают один поверх другого, и сама чувствует слабость, чувствует, как задыхается, и прокликает собственное тело, которое оказалось достаточно сильным, чтобы бороться за жизнь, – она умрет последней, наблюдая за их смертью. Затем она наконец падает, падает на детские тела, смотрит, как закатываются их глаза, как изо рта у них течет кровь, а потом чувствует, как и у нее в груди что-то разрывается. Она закатывает глаза и выпускает дух.

Весь оставшийся день я не покидала барак. Сидела на своей кровати, смотрела на пустую кровать Отлы, вертела в руках вещи, которые она мне оставила: несколько пар штанов, платье, юбку, две рубашки, чулки...

Через несколько дней Ева родила. Пока шли роды, я сидела на скамейке у барака. Меня пустили внутрь только после того, как ребенка помыли. Мне передали крохотное тельце – я держала дочурку Евы и радовалась, поглядывая то на малышку, то на ее мать, в изнеможении лежавшую на кровати.

– Я не знаю, как ее назвать, – сказала Ева. – Мы с мужем никогда не думали об имени для ребенка, только хотели, чтобы он родился живым и здоровым. Если бы я сейчас могла сказать ему... – Она расплакалась. Успокоившись, попросила меня дать малышке имя.

– Амалия, – выбрала я.

– Амалия, – повторила Ева.

Каждый день я ходила в барак беременных и рожениц. Садилась на кровать рядом с Евой и наблюдала за новой жизнью. Новая жизнь дышала, смотрела, жмурилась, плакала, спала, сосала молоко. Ева делилась со мной своими надеждами вновь встретиться с мужем, а я ее слушала.

Однажды утром я сообщила Еве, что всех из нашего барака отправляют в другой лагерь.

– Обещай мне, – попросила она, – обещай мне, что попытаешься найти там моего мужа. Павел Поппер. Прошу тебя, запомни его имя – Павел Поппер.

– Павел Поппер, – повторила я.

– Обещай мне, что там, в том лагере, ты его поищешь. И если найдешь, скажи ему, что он стал отцом. Скажи, что его дочь зовут Амалия. Скажи, что с ней и со мной все хорошо. И что однажды мы снова встретимся. Обещай мне.

– Обещаю, – ответила я.

Мне надо было идти. Я поднялась, поцеловала Еву в лоб, Амалию – в макушку и положила руку на сердце – под бюстгальтер на левую грудь.

– Я ничего тебе не подарила на рождение дочки.

Мне нечего подарить. И вот только вспомнила... – сказала я и из левой чашечки бюстгальтера вытащила чепчик. – Этот чепчик я купила много лет назад. Он старше тебя. – Я улыбнулась. Улыбнулась и Ева. – Посмотри на него – уже почти истлел. Я не знала, зачем взяла его с собой, но теперь знаю. Может быть, зимой он пригодится Амалии.

Ева взяла мою руку и поцеловала ее.

Глядя на ладонь, на которой остался невидимый след от поцелуя Евы, я медленно повернулась к выходу из барака. Дойдя до двери, я открыла ее, обернулась и увидела, как Ева кормит Амалию. Я смотрела на них, и эта картина вызвала во мне страх и надежду. Я наблюдала за Евой и Амалией, будто через них хотела заглянуть в прошлое, увидеть длинную череду матерей и дочерей, не только тех матерей и дочерей, чья кровь текла в их жилах, но всех матерей и дочерей с начала существования человечества и до сего мгновения... А потом я повернулась и ушла.

Оставшийся день я провела в постели. Время от времени я приподнимала простыню над головой и смотрела на белое полотняное небо.

На следующий день нас посадили в товарный поезд, и наше путешествие началось.

Тесно прижавшись друг к другу, мы сидели на полу в темном вагоне, в котором раньше перевозили скот – здесь до сих пор воняло животными. Рядом со мной были Паулина, Роза и Марие. Ехали долго.

Стояла ночь, когда нас вытолкали на улицу. Рассадили по грузовикам, и через несколько минут мы уже были на месте – перед входом в здание, погруженное во мрак.

Женщина в форме сказала, что перед тем, как нас разместят, нужно помыться. И добавила: прежде чем пройти в следующее помещение, мы должны раздеться и запомнить, где чья одежда. Раздевались мы медленно. Я сняла бюстгальтер, и из него выпала пожелтевшая фотография, на которой были изображены мы – сестры Фрейд, наши братья и родители.

Нам приказали подойти к двери. Мы вошли в темное помещение. Дверь за нами закрылась. Тут же послышалось шипение. Я почувствовала горький запах. Чьи-то пальцы сжали мою руку. Я знала, что это Паулина. Знала, что в то мгновение на ее лице застыла та улыбка, которая у некоторых слепцов не исчезает никогда, даже если они кривятся от ужаса и смертельного страха. Кто-то рыдал, кто-то молился. Моя смерть приближалась, смерть стояла передо мной, и я закрыла глаза.

Старуха закрывает глаза перед смертью, и вместо тени страха ее преследуют три воспоминания: в то время, когда для нее еще не все вещи в мире обрели имена, какой-то мальчик подал ей острый предмет и сказал: «Нож»; в то время, когда она еще верила в сказки, чей-то голос шептал ей о птице, которая клювом раздирает себе грудь и вырывает сердце; в то время, когда прикосновения значили для нее больше, чем слова, чья-то рука приблизилась к ее лицу и нежно покатила яблоко по щеке. Этот мальчик из прошлого, который ласкал ее яблоком, нашептывал сказку и подавал нож, – ее брат Зигмунд. Старуха, которая закрывает глаза перед смертью, – это я, Адольфина Фрейд.

Много раз я мысленно пыталась вернуться назад во времени, силилась вспомнить, как лежу в колыбели, а надо мной склоняется какая-то женщина и берет меня на руки, оголяет грудь, подносит меня к ней и дает сосать. Я пыталась вспомнить запах и теплоту тела этой женщины, прикосновение ее соска к моим губам, плавные движения, совершаемые язычком, маленьким ртом и челюстью для того, чтобы выцедить пищу из груди, вкус молока и булькающий звук глотания. Женщину, которая кормит меня в этом потерянном воспоминании, зовут Амалия.

Она родилась на окраине Австро-Венгерской империи, в селе Броди, в 1835 году. Еще до того, как Амалия научилась читать, ее отец, мать, она и братья переселились в столицу империи, прославившуюся монументальностью новых строений и непринужденной строгостью вальса. Но перед ними предстал совсем другой город: Вена эмигрантов, Вена, по чьим грязным улочкам бегали промерзшие ноги подмастерьев, Вена, которую пропитывал смрад кожевен, Вена, которую окутывали лохмотья с тел бездомных, Вена, где попрошайки протягивали руки ладонями вверх. В этом городе на улице Фердинанда отец Амалии, Якоб Натансон, открыл небольшой магазинчик тканей. Одним летним днем – Амалии тогда было двадцать лет, – отец позвал ее в магазин и представил высокому человеку с бородой, стоящему возле полок с тканями. Потом он повернулся к ней и сказал:

– Этот человек будет твоим мужем.

Незнакомца, стоящего перед Амалией, звали Якоб Фрейд. Он был вдовцом, на год старше отца и вдвое старше ее самой. Жил в городке Фрейбург в Моравии, торговал тканями и раз в месяц приезжал в Вену, чтобы перепродать шерсть Якобу Натансону. В этот месяц, только что став дедом, Якоб Фрейд посватался к дочери Якоба Натансона, даже не зная ее. Амалия выслушала приказ отца и через несколько недель уехала вместе с Якобом Фрейдом во Фрейбург. Они жили в комнате над магазином кованых изделий на самой длинной улице городка. Там, на Шлоссергассе, сто семнадцать, 6 мая 1856 года у них родился сын Зигмунд, в следующем году родился Юлиус, который прожил всего шесть месяцев, а еще годом позже на свет

появилась Анна. Торговля шерстью во Фрейбурге приносила все меньше дохода, и когда Якоб Натансон узнал, что Якоб Фрейд вынужден занимать денег, чтобы прокормить семью, он предложил зятю сотрудничество.

Одним мартовским утром Якоб и Амалия Фрейд вместе с детьми прибыли в Вену и поселились в небольшой квартире на Пфедфергассе; воздух в ней был спертым, пахло плесенью и пылью. Потом они переезжали с одной квартиры в другую, с одной улицы на другую – с Вайсгарберштрассе на Пилерсдорфгассе, с Пилерсдорфгассе на Пферрегассе, с Пферрегассе на Глоккенгассе, с Глоккенгассе на Пацманитенгассе, все в Леопольдштадт, еврейском квартале, и каждый дом источал запах плесени, тел и вещей людей, живших в нем раньше; запах, который неизменно напоминал нам о том, что мы недолго проживем в этих стенах. А Якоб и Амалия Фрейд пытались перебить этот запах ароматом трав, красного перца, табака, тмина, ванили, корицы, розмарина. Среди этих ароматов была зачата и родилась в 1860 году Роза, годом позже Марие, еще через год появилась я, затем, через два года, Паулина и, наконец, еще через два года Александр.

Я была болезненным ребенком и большую часть детских впечатлений получила лежа в постели. Помню спазмы в желудке и как меня рвало из-за этого, помню, как отекала шея и я с трудом сглатывала, помню боль в груди, не дававшую мне свободно дышать, зуд в руках и ногах, звон в ушах, жар в теле, который держал меня в оковах полудремы. Перед глазами постоянно колыхалась завеса белесого тумана; в ней я чаще всего видела свою мать и брата Зигмунда. Помню, как мама клала мне на лоб холодное полотенце, как освобождала меня от одежды, влажной от пота, и затем одевала в шерсть; помню, как брат подходил к моей кровати и давал мне ложечку меда или яблоко, которым сначала гладил мою щеку и потом подносил к губам. Я отворачивалась и говорила, что не могу откусить, а он спрашивал, хочу ли я, чтобы он откусил за меня. Я отвечала, что не могу жевать, а он спрашивал, хочу ли я, чтобы он и прожевал за меня. Я кивала, а он откусывал кусок яблока, прожевывал его и, склонившись надо мной, клал мякоть фрукта мне в рот, как делают птицы, когда кормят своих птенцов. Пока я понемногу глотала прожеванную пищу, он рассказывал мне о двух влюбленных птицах – сказку, нигде и никем не записанную. Эту сказку сочинил для меня брат, или же я сама ее придумала много лет спустя, пытаясь вспомнить детство. Кусочек за кусочком брат пережевывал для меня яблоко и, пока я ела, рассказывал о том, как одним утром птица улетела и больше не вернулась, а вторая птица клювом разодрала себе грудь от тоски и вырвала сердце. Когда от яблока оставалась только несъедобная часть, брат прикасался губами к моему лбу, чтобы проверить температуру. Может быть, из-за моей болезни он был со мной более нежен, чем с остальными сестрами. Перед сном он всегда целовал меня в лоб втайне от матери, потому что она высмеивала любые проявления нежности с его стороны.

Много лет спустя мама рассказывала о том, что, когда болезнь отступала, она водила меня к бабушке, которая была почти полностью парализована – мама навещала ее каждый день. Я наблюдала, как мама влажным полотенцем убирает за ней испражнения, потом вытирает ее сухим полотенцем и, наконец, переодевает в чистое. В последние месяцы жизни бабушка могла произнести только два слова – «мама» и «Малка». Малкой она звала мою маму, когда та была маленькой. Во мне она видела свою дочь в детстве – хватала меня за руку и не хотела отпускать, а я стояла, съезжившись, и со страхом смотрела на нее. Она повторяла: «Малка... Малка... Малка...» Затем протягивала вторую руку к моей голове, а я отшатывалась.

– Дай ей тебя погладить, – говорила мне мама. – Она думает, что ты – это я, думает, что ты ее дочь.

Тогда я начинала волноваться еще больше, плакать, и бабушка тоже проливали слезу, переживая из-за того, что растрожила девочку, которую считала своей дочерью, а затем отводила взгляд к стене.

Когда она бредила, а мама обмывала ее и переодевала, бабушка мгновенно открывала глаза и хватала пальцы своей дочери, как обычно дети хватаются за свою маму, если долго ее не видели и скучали. Она повторяла слово «мама» до тех пор, пока ее голос не сходил до шепота, а потом просто шевелила губами, продолжая беззвучно произносить его. Моя бабушка умерла, шепча слово «мама». Я была там, но не могу вспомнить ее смерть. От детства во мне осталось много грез, страхов, снов, событий, о которых я мечтала, чтобы они произошли, или которых боялась, но не тех, которые произошли на самом деле.

Иногда я представляла, как мама, брат и я остаемся дома одни, наш дом отделяется от земли и плывет сквозь безвременье, удаляясь от всего мирского; таково было мое детское представление о блаженном существовании, подобном жизни Адама и Евы в саду Эдемском до Падения. Больше всего я боялась потерять маму и брата. Эта мысль преследовала меня, пока я бодрствовала, эти сны мучили меня, пока я спала: они куда-то уходили, а я не могла сдвинуться с места, они таяли, словно превращались в воздух, улетали или оставались на поверхности, а я исчезала под землей. Это были сны моего детства, и когда много лет спустя прочитала в книге брата, что в снах мы видим исполнение наших желаний, я подумала, что некоторые из них отражают наши страхи.

Как только мое раннее детство закончилось, болезнь тоже отступила, а ее место занял непонятный страх. Раньше болезнь служила защитой от того, что меня окружало, а теперь передо мной вдруг открылся целый новый мир. Выходя из дому, я будто исчезала – не оставалось ничего, кроме страха перед неизвестным пространством и незнакомыми людьми. Я боялась даже ходить на задний двор вместе с моими сестрами, которые играли там с соседскими детьми, и предпочитала сидеть у окна. Мне хотелось, чтобы мир для меня заканчивался там же, где мой дом, и чтобы в этом мире никогда не появлялось незнакомого лица.

Встав утром – а я всегда просыпалась раньше сестер, – я сразу шла на кухню. Знала, что мама там.

Разводила огонь, шила или готовила еду, а отец был уже в магазине. Я садилась около нее, она давала мне вареный картофель или кусок хлеба с маслом и продолжала работать, а я жевала и ждала брата – знала, что он уже проснулся и повторяет лекции, заученные вчера. Как только Зигмунд уходил в гимназию, мои сестры выбегали во двор позади дома, а я оставалась рядом с мамой, наблюдала, как она работает: смотрела на ее руки и лицо, пока она стирала, мыла полы, штопала, вышивала, готовила. Время от времени, когда она отправлялась на рынок, я шла в комнату Зигмунда. В каждом из тех домов, где мы жили, он занимал отдельную комнату – чаще всего это были тесные углы, которые до нашего приезда служили кладовкой. Я заходила в его комнату с маленьким окном, больше похожим на трещину в стене, и останавливалась рядом с кроватью. Я не двигалась с места, блуждал только мой взгляд: по стенам, по полу, по полкам, на которых аккуратными рядами были расставлены книги, а также сложена одежда моего брата. Старалась долго не задерживаться, не хотела, чтобы мама вернулась до того, как я оттуда выйду.

Мама еще до его рождения верила в то, что он станет, как говорят, «великим человеком». Когда она была беременна, ей повстречалась старуха, которая и предрекла его будущее, и с тех пор мама часто повторяла ее слова. Обращалась она к нему, как к маленькому: «Мой золотой Зигги». Он всегда был маленьким, всегда ее. Она твердила это, будто хотела не только завладеть им, но полностью подчинить себе «золотого Зигги»; в ее словах звучала угроза для всех, кто мог бы попытаться отобрать у нее сына.

В те дни, когда мама надолго уходила к своим братьям или когда все время проводила в магазине с отцом, я прокрадывалась в комнату Зигмунда, садилась в углу и наблюдала, как его взгляд бежит по страницам книги, а губы шевелятся, когда он беззвучно произносит слова. В восемь лет он уже читал Шекспира на английском, а в гимназии (в которую поступил не в десятилетнем возрасте, как другие дети, а на год раньше, досрочно сдав вступительный экза-

мен) выучил латинский, древнегреческий и французский языки, позже самостоятельно освоил итальянский и испанский, как и до этого английский. Если у брата было свободное время, я просила его почитать мне на одном из этих таинственных языков или рассказать что-нибудь из учебной программы, хотя ничего не понимала, будто он и в этом случае говорил на неизвестном языке.

Отец поздно возвращался домой, и даже в те немногие часы, проводимые с нами, он словно отсутствовал. Перекидывался несколькими словами с мамой, спрашивал, все ли хорошо у нас, детей, затем брал Талмуд и, усаживаясь как можно дальше ото всех, начинал беззвучно читать на иврите, который был для него всем миром, но который никто из нас, его детей, так и не выучил. Наши родители, приехав в Вену, решили, как и многие другие евреи в городе, передать детям свою народность через кровь, но не через религию. Они надеялись, что «тихая» ассимиляция и сохранение только невидимых особенностей нашего происхождения – тех, что в крови, – помогут нам достичь равноправия с другими гражданами, а сами они останутся при своей вере так же бесшумно, как отец произносил слова, читая Талмуд.

Мы, пять сестер, всегда спали в одной комнате. Вечерами мы допоздна не могли заснуть и просто лежали в постелях, одетые в белые хлопковые рубашки. Анна занимала отдельную кровать у стены, за которой находилась спальня родителей, Роза и Марие спали у окна, а я и Паулина – рядом с дверью. Анна и Роза рассказывали случаи из школьной жизни, о дружбе с соседскими девочками. Они говорили шепотом, чтобы не разбудить родителей, а Паулина, Марие и я внимательно прислушивались к их тихим словам. Засыпая, я в темноте смотрела на стену прямо перед собой. Иногда, пробуждаясь среди ночи, слышала, как кто-нибудь из моих сестер во сне смеется, плачет или неразборчиво бормочет.

Однажды Анна рассказывала нам, как одна ее одноклассница бросилась в Дунай, потому что родители решили выдать ее замуж за незнакомого человека. Я всегда молча слушала их беседы, но в этот раз решила спросить:

– А почему она не вышла замуж за своего брата?

Анна и Роза тихонько захихикали.

– Потому что брату и сестре нельзя жениться, – объяснила Анна.

– Как только братья и сестры находят себе спутников жизни, они становятся чужими друг другу, словно до этого и не были знакомы, – сказала Роза и добавила, что чаще всего родители сами выбирают мужа для дочери и иногда им становится человек, с которым она никогда раньше не встречалась.

Тем вечером я долго не могла заснуть – сон от меня гнала мысль о том, что однажды мы с Зигмундом расстанемся и станем чужими друг другу; жизнь и так была страданием, странствием с камнем на шее, но, видимо, предстояло нечто еще более мучительное.

На следующее утро я, проснувшись, сразу же пошла к маме. Она выливали воду из кастрюли с вареной картошкой, а затем брала по одной картошине и перекладывала в большую общую миску. Наблюдая за тем, как она накрывает на стол, я спросила, могут ли пожениться брат и сестра.

– Конечно не могут, – ответила она и начала чистить картофелину, дымящуюся у нее в руке.

– Почему?

– Потому что так сказал Господь Моисею. – Она дала мне очищенную картофелину.

– А что сказал Господь Моисею? – Я подула на картофелину, которая жгла мне пальцы.

– Он сказал: «Если кто возьмет сестру свою и увидит наготу ее, и она увидит наготу его: это срам, да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего».

Я слушала, но ничего не понимала. Затем спросила:

– Но почему он так сказал, ведь брат и сестра – самые близкие люди?

– Сейчас ты не можешь этого понять. Поймешь, когда вырастешь.

– А если я не хочу вырастать?

Мама улыбнулась.

– К сожалению, это решаем не мы, а время, – ответила она и вышла из кухни.

Я откусила кусок картофелины – он был горячим и обжег мне небо и язык, – тут же выплюнула его на ладонь и стала дуть. В кухню вошел брат и, увидев, что мамы здесь нет, поцеловал меня в лоб. Он сказал, что сегодня проспал, поэтому не будет завтракать дома. Он взял с собой ломоть сыра и две картофелины. Я последовала за ним к выходу и, прежде чем Зигмунд успел переступить порог дома, сказала:

– Обещай, что мы всегда будем вместе.

– Обещаю, – ответил он, выходя на улицу, а я поднесла к губам кусок картофелины, который перед этим выплюнула на ладонь.

Его обещание значило для меня намного больше, чем слова Господа, обращенные к Моисею, который потом передал их своему народу. Для нас Господа не существовало, потому что родители не рассказывали нам о нем, а Моисей был не пророком, а всего лишь героем легенды, которую поведал нам отец.

Моисей был ребенком, спасенным матерью от фараона, приказавшего казнить всех младенцев мужского пола – потомков Иакова: она уложила сына в корзину, покрытую смолой, и оставила на берегу Нила. Корзину нашла дочь фараона, когда пришла на реку купаться. Увидев это, сестра новорожденного привела к дочери фараона свою мать, чтобы та вскормила ребенка; вот так заканчивалась эта легенда – Моисеем у груди своей матери.

Так рассказывал отец. Благодаря библейским притчам он на короткое время становился ближе к нам, но затем снова отдалялся, постоянно осознавая разницу между правильным временем и неправильным – так же как осознавали ее и другие люди, которые сделали что-то намного позже того момента, когда это должно было быть сделано. Он смотрел на нас, своих детей, которые были младше его детей от первого брака, и, возможно, это осознание и породило глубокую пропасть между нами, пропасть, заставлявшую нас называть его «отец», а не «папа», «отец» звучало как «господин». Не возраст, не вера, которую он исповедовал, но не передал нам, а именно осознание того, что он сделал что-то слишком поздно. Это «поздно» делало каждое его движение судорожным, каждое его слово заставляло звучать предупреждением, каждый порыв теплоты леденел, едва достигнув нас.

В тот день, когда я впервые должна была пойти в школу, меня обуял страх, и я попросила у родителей разрешения остаться дома. Я осталась дома и на следующий день, и в другие дни тоже. Отец и мать уверяли меня, что никто в школе не сделает мне ничего плохого, заставляли Анну, Марию и Розу рассказывать мне о том, как им там хорошо, а Зигмунда – насколько большое значение имеет учеба. Но я уже слышала от них, что некоторые девочки с нашей улицы не ходят в школу, и утверждала, что и мне нет необходимости туда ходить, а все, что мне нужно, могу прочитать и дома в тех же книгах, по которым учились мои старшие сестры. Когда брат возвращался из гимназии, я шла к нему в комнату, он брал один из учебников и, пролистывая страницы, объяснял мне то, что я, по его мнению, должна была знать.

Каждое воскресенье отец и мать с Анной, Розой, Марией, Паулиной и Александром ходили на прогулку в Пратер. Зигмунд был со мной дома, оправдываясь тем, что ему надо заниматься. Но как только мы оставались одни, он откладывал книги в сторону, мы ложились на кровать, которую я по ночам делила с Паулиной, залезали под простыню и приподнимали ее над головой. Мы испытывали какое-то блаженство, чувствовали себя сообщающимися сосудами. Я хотела, чтобы эта близость длилась вечно и еще один миг. Пока мы лежали так, под белым небом простыни, а наше дыхание сливалось воедино, Зигмунд рассказывал мне о чудесах природы, о долгой жизни звезд и их смерти, о непредсказуемости вулканов, о волнах, разьедающих землю, о ветрах, которые могут ласкать, но могут и убивать; я пьянела от его слов, от его дыхания, от соприкосновения наших тел, лежащих рядом. Мы пребывали в этом полубес-

сознательном состоянии до полного изнеможения, до тех пор, пока я не засыпала, а просыпалась я оттого, что родители, сестры и брат, вернувшись домой, начинали шуметь. Зигмунда к тому моменту уже не было рядом. Он всегда вставал раньше меня, а иногда вообще не спал.

В один из дней я внимала словам Зигмунда, смешанным со стуком моего сердца, чувствовала, как мое дыхание замедляется, а глаза закрываются. Я не спала и не бодрствовала и, лежа в полусне, услышала, как брат тихо спросил меня, заснула ли я. Я не двигалась, продолжая наслаждаться покоем и единением нашего дыхания. Я и не думала обманывать брата, просто не хотела прерывать удовольствие. Он осторожно выбрался из-под простыни и ушел.

Я лежала так еще какое-то время, а потом тихонько откинула простыню и встала. Вышла в коридор и направилась в комнату брата. Я приоткрыла дверь и остановилась на пороге. Там, на кровати, лежал Зигмунд. Его брюки были расстегнуты и спущены до колен. Сам он смотрел в потолок. Его рука двигалась вдоль полового органа, который я увидела впервые в жизни. Я чувствовала, как мое сердце бьется где-то в горле, слышала его прерывистое дыхание. Он дышал все чаще и чаще, потом закрыл глаза, все его тело судорожно выгнулось, губы приоткрылись, и он тихо вскрикнул, а из его полового органа брызнула белая жидкость.

Я услышала собственный крик. Мой брат вздрогнул и посмотрел на меня. Я вылетела в коридор и побежала в свою комнату. Бросилась на кровать, закрыла лицо руками и зарыдала. Я почувствовала, как весь мир, заполнявший мои детские годы – часы, когда брат занимался у себя, а я сидела в углу и наблюдала, как он, читая, бесшумно шевелил губами, часы, когда он делился со мной знаниями, часы, которые мы вместе проводили под простыней, обещая друг другу, что никогда не расстанемся, – навеки растаял. Мне было больно оттого, что мы с братом должны будем разлучиться. Я впервые осознала, что каждый из нас пойдет своим путем, и от этой мысли я страдала.

Я пыталась глотнуть воздуха, слушала его голос.

– Прощу тебя, не плачь. – Его липкие, приятно пахнувшие ладони гладили мои пальцы, которыми я прикрывала лицо. – Не плачь, прошу тебя, – повторял брат.

Он был рядом со мной, так близко и так далеко. Он отвел мои руки от лица. Я смотрела на него, но видела будто совсем другого Зигмунда, и смотрела будто совсем другая я. Я закрыла глаза, чувствуя, как текут слезы. Зарылась лицом в подушку. Он стоял у моей кровати, положив ладони мне на голову. Плач стихал, тише становились быстрые прерывистые вздохи и медленные протяжные выдохи. Я не поднимала голову от подушки, а брат так и сидел рядом со мной.

Мы услышали, как открывается входная дверь.

– Я скажу им, что ты спишь, – произнес он и вышел из комнаты. В то же мгновение на меня вновь накатили рыдания, и я с силой прижала лицо к подушке, чтобы никто не услышал мой голос. Какое-то время я лежала так, а потом заснула.

На следующий день я избегала брата. Я вышла из комнаты – он уже был в гимназии, и вернулась к себе перед тем, как брат должен был прийти. Я не ходила к нему, как делала всегда, когда он был дома, а он не искал меня, как делал всегда, если я сама не стучалась в его дверь.

В тот день меня тошнило от всего: от воды, еды, от собственного тела, от слов и от воздуха, который я с трудом втягивала маленькими вдохами и быстро выдыхала, а затем как можно дольше старалась не дышать. Меня мучила какая-то странная лихорадка. Из-за нее я чувствовала сонливость, истощавшую меня, и в то же время не могла уснуть, дрожа всем телом. Следующий день я провела в постели в бреду – тело и душа нашли способ избавиться меня от мыслей о переменах, вызванных всего одним неосторожным взглядом. Не знаю, от брата ли я услышала сказку о птице, которая потеряла свою любовь, клювом разодрала себе грудь и вырвала сердце, или сама ее придумала. Лежа в полутьме, я чувствовала, как что-то колет у меня в груди, будто хочет добраться до моего сердца.

Вечерами, перед сном, я была еще более молчалива, чем обычно. Во мраке комнаты Анна и Роза рассказывали нам о том, что с ними случилось за день, или делились сплетнями, нашеп-

тывали нам полутайны и полуистины. Марие и Роза вопросами заполняли пустоты, намеренно оставленные сестрами, а я все это время лежала с закрытыми глазами, отвернувшись к стене, и чувствовала, как боль и страх в унисон отбивают дробь в душе. Я боялась жизни и того, что она может преподнести, и меня мучил этот страх. Познав различия между моим телом и телом брата, я почувствовала те перемены, которые должны были произойти, но о которых я не имела ни малейшего представления; меня пугала и мучила мысль об этой разнице, но также я страшилась и необъяснимого предзнаменования телесных отношений, смысла которых не понимала. Они влились в мое сознание, незнакомые, словно воспоминания, передающиеся от поколения к поколению, доставшиеся мне еще до того, как я впервые услышала о них, еще до того, как увидела их и ощутила, воспоминания, передающиеся через кровь, глубоко врезанные в детство, смутные и необъяснимые.

Много лет спустя я читала исследование, в котором Зигмунд – он тогда был человеком средних лет – объяснял, как девочка становится женщиной. Согласно его словам, взросление ребенка женского пола «начинается с наблюдения гениталий другого пола. Они сразу же замечают разницу и, как следует допустить, ее значимость». С этого момента всякая девочка «считает себя весьма обделенной» и поэтому «становится жертвой зависти к пенису, оставляющей неизгладимые следы в ее развитии и формировании характера».

Если решающим фактором в становлении женщины действительно является не ее внутренняя суть, но нечто вне ее, а именно осознание того, что у нее нет половых органов, сходных с мужскими, осознание того, что она «неполноценна», как говорил мой брат, почему тогда результатом этого осознания, результатом, который приводит к тому, что детское начало уступает место женскому, из ребенка рождается женщина, результатом этого осознания является зависть, а не тоска, или страх, или равнодушие; тоска из-за различия между полами, страх перед этим различием, страх перед противоположным полом; равнодушие к различию? Он не допускал даже мысли, что это осознание у некоторых девочек-которые-станутся-женщинами может вызвать и другие чувства, не только зависть. Он отвел зависти центральное место, вокруг которого формируется Я каждой женщины. Становление женского начала, по мнению моего брата, – это не только результат биологической предопределенности, это не анатомический факт и также не метафизическая данность и не нечто, хранящееся в тайных глубинах души; это процесс, движимый завистью, и после того, как превращение завершилось, зависть становилась частью жизни каждой женщины в качестве вечного напоминания о первом жестоком осознании собственной неполноценности.

Когда мой брат представил всему миру свое понимание этого процесса как абсолютную истину, он не вспомнил о боли, терзавшей меня с того дня, когда ему было тринадцать, а мне семь, о боли и страхе, причиной которых стали случайно брошенный взгляд на различия между нашими телами, мысль о взрослении и прощании с детством, предчувствие того, что мы не будем странствовать по жизни рука об руку и придем к смерти разными дорогами. Он забыл тот день, забыл тоску и страх, которые, излившись из него, поглощали меня, словно тени, превращаясь в другую тоску и другой страх, сливаясь с другой тоской и другими страхами. Он забыл. И взросление всех девочек, процесс, названный «становление женщины», он свел к одному – к зависти.

Когда я находилась под влиянием страха и боли, только мама заметила, что между мной и братом оборвалась связь. Она видела это не только по тому, что по утрам я стала появляться на кухне после того, как слышала, что брат ушел в гимназию, и пряталась в спальне перед самым его возвращением, но и по тому, как менялось выражение моего лица, если мы с братом случайно оказывались в одной комнате, как мы избегали смотреть друг на друга, как учащалось наше дыхание. Мой брат больше не прогуливался со мной и не играл во дворе со своими сверстниками – годы игр остались позади.

Его друзья иногда приходили к нему, а когда он сам собирался кого-нибудь навестить, мама мне говорила:

– Сегодня прекрасный день. – Она отодвигала шторы и пускала в комнату лучи солнца.

Я потихоньку привыкала быть с мамой – мы ходили на рынок или в магазин к отцу. Иногда я сама спускалась по лестнице, доходила до конца улицы и возвращалась назад. Зигмунд время от времени, не говоря ни слова, давал мне какую-нибудь книгу, взятую из библиотеки специально для меня. Прочитав ее, я также молча возвращала ее и ждала, когда он принесет мне следующую. В комнатушку брата я больше не заглядывала, даже если его не было дома. Я избегала находиться с ним в одном помещении. И все же я, как и раньше, ждала его возвращения из гимназии или от своих друзей. И, заслышав знакомые шаги в коридоре, я ложилась на кровать, приподнимала над головой простыню, придерживая ее пальцами, как мы с ним делали раньше, и вместо радостного опьянения чувствовала, как боль колет у меня в груди, будто пытается добраться до моего сердца.

Улица Кайзера Иосифа начиналась в одном парке и заканчивалась в другом, соединяя Пратер и Аугартен; на этой улице в четырехэтажном здании пепельного цвета находилась наша новая квартира, в которую мы переселились, когда Зигмунду было семнадцать, а мне неполных одиннадцать. Впервые в жизни мы с сестрами не спали все вместе в одной комнате. Окна спальни родителей, где жил также и Александр, спальни Анны и Розы и спальни Паулины, Марие и моей выходили на задний двор, а из столовой, гостиной и комнаты Зигмунда, которую мы прозвали «кабинет», открывался вид на улицу с красующейся в центре – между двумя полосами движения – аллеей.

В первое же утро после переезда я, проснувшись, вышла на балкон гостиной. Было воскресенье, и на улице тихо и пустынно. Я закрыла глаза и подумала об одном из самых ранних воспоминаний: я, больная, лежала в постели, ко мне подошел брат и дотронулся яблоком до моей щеки.

Я открыла глаза, повернулась и посмотрела на окно комнаты брата. Занавески были отдернуты, он сидел за столом и читал. Мы были чужими друг другу вот уже четыре года. Он по-прежнему время от времени давал мне какую-нибудь книгу, взятую из библиотеки гимназии, затем я ее возвращала и в эти моменты хотела, чтобы мы никогда больше не виделись, но вместе с тем мечтала о той, прошлой, близости, когда мы вместе лежали в кровати, я слушала его голос и мне казалось, что кожа наших тел – это единственное, что нас разделяет.

Тем утром, впервые проснувшись на новом месте, я стояла на балконе и смотрела на окно его «кабинета» – брат был там, такой близкий и такой далекий, сидел за столом и читал. В какое-то мгновение он поднял голову, и наши взгляды встретились. Я вздрогнула, будто он застал меня за недостойным занятием, и быстро ушла в гостиную, а затем по коридору прокрадась в спальню – Марие и Паулина еще не встали. Я легла на кровать и накрылась простыней, немного приподняв ее над головой.

Тем временем уровень нищеты в Вене достиг пика, и отцу пришлось уволить всех работников ради того, чтобы сохранить магазин; теперь там работала мама, она часто брала меня с собой. Каждый день мы по несколько часов помогали отцу. Когда мы возвращались домой, мама садилась за вышивание, а я наблюдала, как она прокалывает иглой ткань. Мои сестры играли во дворе за домом или в спальнях или следили с балкона за улицей, а я так и сидела, замороженная танцем иглы, разнообразием ниток и движением пальцев матери. Вышивание доставляло ей радость.

За шитье же она обычно бралась лишь ранним утром, будто не желая, чтобы кто-нибудь застал ее за этим занятием. Она чинила носки, платица, которые мы носили и которыми обменивались между собой, брюки Зигмунда, отца и Александра, свою одежду. Как только мы утром появлялись на кухне, она откладывала шитье, а днем, после работы в магазине, садилась

вышивать. Иногда и я вышивала, или сидела на коленях у ног матери и наблюдала за ней, или же, расположившись на полу, читала книгу, которую мне дал брат.

Однажды днем отец, мать и я, возвращаясь из магазина, прошли по Аугартену. Рядом с одним из зданий парка взгляд отца привлекла табличка с крупной надписью, гласившей, что только в этот день работает выставка картин библейской тематики. Мы вошли в выставочный зал. Отец стал бродить по пустому помещению, а мама, заметив изображенные на некоторых картинах нагие тела, задержала меня у двери. Я указала на одно из полотен и попросила маму позволить мне рассмотреть его.

Старец, юноша и ангел. Это было «Жертвоприношение Авраама» Рембрандта. Я трепетала, глядя на старца, который одной рукой обхватил лицо юноши, практически закрыв его, а в другой держал нож. Я попросила маму рассказать мне о картине.

– Жили когда-то муж и жена. Мужа звали Авраам, а жену – Сара, и не было у них детей. Аврааму было девяносто девять лет, когда явился ему Бог и сказал, что даст им с Сарой сына, от которого произойдет великий народ, и станет он почитать Господа. Действительно, Сара в свои девяносто лет родила Аврааму сына, назвали его Исаак. Когда ребенок подрос, Бог снова явился Аврааму и велел принести сына в жертву во имя Господа. Три дня отец и сын добирались до места, назначенного Богом для жертвоприношения; там Авраам устроил жертвенник, разложил дрова, затем, связав сына, положил его на жертвенник и занес над ним нож. Тогда ангел воззвал к нему с неба и сказал, что Бог испытывал его, требуя принести в жертву сына, чтобы проверить, насколько Авраам верен ему. Вместо Исаака в жертву был принесен баран. Устами ангела Бог сообщил Аврааму, что, поскольку тот был готов пожертвовать сыном ради Него, Он благословляет его, а в качестве награды пообещал умножить его потомство и даровать победу над врагами.

Мне было непонятно, как отец мог решиться убить родного сына, даже по требованию Бога.

– Бог испытывал его веру, – сказала мама.

Я спросила ее:

– Что значит для Бога вера одного человека по сравнению с тем, что значит для одного человека жизнь собственного ребенка?

Мама ничего не ответила.

Той ночью я не могла заснуть, мои мысли были заняты легендой об Аврааме и Исааке, я долго пыталась воскресить перед закрытыми глазами картину, изображавшую отца, сына и ангела. Я хотела представить лицо родителя, готового совершить убийство, пустое лицо невинного, который должен умереть, лик ангела, несущего спасение. Я пыталась увидеть эту картину в мыслях, но не могла. Пыталась вспомнить хотя бы цвета, если не выражение лиц и положение фигур, но и они растворялись в сером тумане, и у меня сложилось ощущение, которому я не могла доверять, что картина была написана всем возможным разнообразием цветов и оттенков земли и что пока я рассматривала ее, мой взгляд высасывал кровь и воздух из этой земли.

На следующий день я не пошла с мамой в магазин к отцу. После обеда ко мне зашел Зигмунд и принес книгу, взятую для меня в библиотеке гимназии. Я осмелилась признаться ему, что хочу научиться рисовать. Он с такой нежностью взял мою правую руку, что сторонний наблюдатель мог бы подумать, что он – семнадцатилетний юноша, влюбленный в девочку одиннадцати лет. Это ее рукой он любуется, ее пальцы разглаживает своими пальцами, ее ладонь расправляет на своей ладони; или, возможно, проникая взглядом сквозь кожу, сквозь вены, сквозь плоть и кости, пытался рассмотреть желание рисовать. Мы уже много месяцев не дотрагивались друг до друга, а сейчас он держал мою руку в своей.

– Ты научишься рисовать, – сказал он.

Потом мы долго сидели, соединив руки, и чувствовали нечто похожее на то блаженство, которое когда-то испытывали, лежа рядом в одной кровати и разговаривая. Мой брат хотел

знать, что именно подталкивало меня к живописи: было ли это желание познать природу во всей ее изменчивости или понять характер человека или его внутреннее состояние по выражению лица, положению тела, по глазам. А я знай себе твердила о картине художника, чьего имени не запомнила, и о своей недавно обретенной мечте.

В том возрасте, в который я тогда вступила, человеку свойственно думать, что всего, чего бы он ни пожелал, можно добиться за один день. Человек действительно может за *один день* осуществить то, о чем тогда – в детстве – мечтал, только *этот день* никогда не настает не потому, что желание было изначально неосуществимым или возможности были оценены неверно, а потому, что между днем, когда зарождается желание, и днем, когда оно осуществляется (днем-который-никогда-не настает), пролегал много других дней, которые вытесняют и жизнь, и самого мечтателя, а желание детства со временем вызывает лишь улыбку или сожаление, рождает в памяти нежные воспоминания или забывается вовсе. Я никогда не забывала о своей мечте, сбереженной мной для дня-который-никогда-не настает: красками земли, в которых видны воздух и кровь, изобразить страх и покой, зло и добро, ничтожность и величие, неизбежность смерти и надежду на спасение, так же как на той картине с Исааком и Авраамом.

Пока мы разговаривали, дверь комнаты открылась и вошла мама. Зигмунд отпустил мою руку и сказал:

– Адольфина хочет посещать занятия по рисованию.

Я точно не помню, что тогда ответила мама. Укорила ли она меня за мое желание из-за того, что другие девочки хотят научиться вещам, которые потом пригодятся им в жизни, или выразила сомнение в том, что я вообще способна чему-нибудь научиться – я ведь не хотела ходить в школу. Не помню точно, что она тогда ответила, но я никогда не забуду, как изменилось выражение ее лица: в одно мгновение исчезла вся нежность, которую она испытывала ко мне; помню, как в то мгновение из ее голоса исчезла теплота, с которой она обращалась ко мне. Я почувствовала порыв ледяного ветра, исходивший от ее лица и голоса. Потом она вышла, а за ней отправился и Зигмунд, подтвердив этим покорность и верность всему, что она скажет. Я осталась в комнате, разглядывая свои влажные ладони.

В тот миг будто капля яда, вытекшая извне знакомого нам пространства, разъела ту невидимую нить, которая связывала нас с матерью. В тот миг, когда она услышала о моем желании из уст брата, когда заметила нашу близость, пришедшую на место отчужденности, мир, созданный нами с матерью, изменился: с тех пор она словно стала другим человеком, или я для нее перестала быть собой и превратилась в яму, куда нужно было выплескивать все свои муки, истинного источника которых она, возможно, и сама не знала.

Мой брат заметил эту ядовитую каплю, отравившую наши с матерью отношения, и поэтому с особой тщательностью выбирал моменты, чтобы поговорить со мной. С тех пор как я его знаю, то есть всю мою жизнь, он часто повторял две фразы: «Сначала я спрошу у мамы» и «Что об этом сказала мама?»; сейчас я знаю, что сказала бы мама о каждом его мгновении, проведенном со мной, и поэтому мы вели наши беседы тайно, когда мама была в магазине и помогала отцу.

Но она чувствовала нашу близость: его глаза оставляли след в моих глазах, а мои – в его, его слова переплетались с моими, мой голос окрашивал его голос. Мама все это чувствовала и выцеживала еще больше яда, будто хотела растворить в нем сладость моего существования. Теперь я постоянно слышала в ее словах укор, презрение или насмешку. Она часто повторяла: «Лучше бы я тебя не рожала». Она так говорила, когда я проявляла наивность, присущую моим одиннадцати годам, или когда я совершала ошибку, чего вполне можно было ожидать от девочки этого возраста. Потом ее «Лучше бы я тебя не рожала» стало заменять «Доброе утро», «Доброй ночи», «Как дела?» и «Нужно ли тебе что-нибудь?». Эти слова я слышала даже тогда, когда она молчала. Я вертелась в замкнутом круге, огражденном фразой «Лучше бы я тебя не

рожала», хотела сбежать из этого круга, хотела по утрам, как и раньше, приходить на кухню, мама подавала бы мне горячую картошку, а я садилась бы в углу и наблюдала, как она работает.

Иногда по утрам мне случалось испытывать надежду, что я могу просто войти в кухню и спросить ее, как мне искупить свою вину; во мне еще жил крохотный лучик надежды, что мама встретит меня тем знакомым взглядом и мы снова станем близки, как прежде.

Я заходила в кухню, но меня жалили холод ее взгляда, резкость слов, ее нежелание приближаться ко мне, вопрос застревал у меня в горле и так и оставался невысказанным. Я хотела его выхаркать, выплюнуть, как выплевывают испорченную пищу, но он оставался там и гнил, прилипнув ко мне, отказываясь отпустить меня, и я везде носила его с собой в качестве символа вины, не знавшей своего преступления.

Когда вечером я ложилась в кровать, прислонялась к стене, все мое тело – тело одиннадцатилетней девочки, которой я тогда была, дрожало от страха и горя; засыпая, я боролась за воздух, за вдохи и выдохи. Иногда я просыпалась среди ночи от удара собственной руки о стену – во сне я тянулась к чьей-то руке, пытаюсь схватить ее, подержаться за нее.

Ощущение беспомощности становилось непомерно тяжелым, потому что мой брат будто не слышал слов презрения и насмешек, которыми осыпала меня наша мать. Я страдала из-за того, что он никак не реагировал на ее «Лучше бы я тебя не рожала» – своим молчанием он словно соглашался с тем, что мое существование – ошибка. Иногда он становился свидетелем ее издевательств над тем, как я смеюсь, или как ем, или как хожу; иногда он был рядом, когда она унижала меня, доказывая, насколько я ничтожна по сравнению с дочерьми ее подруг, которые приходили к нам в гости вместе с матерями и которые, в отличие от меня, разговаривали, приятно смеялись и обладали изящной походкой; иногда он слышал, как она пресекает всякий мой порыв и омрачает всякую радость. А я хотела, чтобы каждый порыв и каждая радость принадлежали и ей, но в то же время понимала, что радоваться нечему: мама не желала делить со мной мои порывы и радости и считала, что они не имеют права на существование. «Несчастливы те матери, которые имеют таких дочерей, как ты», – говорила она и затем напоминала, что преподнесла мне ценнейший дар – жизнь, а я его не заслужила. Молча выслушивая ее унижительные речи, я ощущала покалывание в груди, а чувство отчужденности впивалось клювом в мягкую трепещущую плоть, и что-то внутри меня плакало, как плачет брошенный младенец, которому кажется, что весь мир вокруг него исчез, потому что рядом нет матери. Так плакало что-то внутри меня – сама я не проронила ни слезинки, только выражение муки искажало мое лицо. У меня на шее словно висел камень, – я была осуждена носить его на протяжении детских лет, а затем и всю оставшуюся жизнь. Я видела это выражение всякий раз, когда смотрелась в зеркало. Я ненавидела себя за то, что была слишком чувствительна, дрожала и жаждала вырвать эту дрожь с корнем из своего тела, жалела себя и ненавидела жалость. Однажды, после очередного «Лучше бы я тебя не рожала», ненависть к самой себе затопила меня настолько, что я спряталась под кровать и стала изо всех сил сжимать пальцами горло, пока не потеряла сознание.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.